

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ



ЖЕРМИНАЛЬ

Ругон-Маккары

Эмиль Золя
Жерминаль

«Фолио»

1885

ББК 84(4ФРА)

Золя Э.

Жерминаль / Э. Золя — «Фолио», 1885 — (Ругон-Маккары)

ISBN 978-966-03-5461-6

Эмиль Золя (1840–1902) – выдающийся французский писатель, подаривший миру грандиозную 20-томную эпопею «Ругон-Маккары». «Жерминаль» (1885) занимает особое место в эпопее. Это роман о тяжелой, безрадостной жизни шахтеров, которых непосильный труд и голод превратили в животных. Но даже в этих нечеловеческих условиях зарождаются светлые чувства – расцветает любовь Этьена Лантье и Катрины Маэ. И хотя Катрина гибнет в завале, финал романа, как и его название, звучит оптимистично: жерминаль в республиканском календаре – месяц весеннего пробуждения, месяц молодой поросли.

ББК 84(4ФРА)

ISBN 978-966-03-5461-6

© Золя Э., 1885

© Фолио, 1885

Содержание

Роман о борьбе труда и капитала	6
Часть первая	18
Часть вторая	53
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Эмиль Золя

Жерминаль

© Д. С. Наливайко, предисловие, 2008

© Н. Д. Билык, примечания, 2008

© В. Н. Карасик, художественное оформление, 2015

© Издательство «Фолио», марка серии, 2010

Роман о борьбе труда и капитала

Среди французских писателей второй половины XIX века почетное место принадлежит Эмилю Золя. Именно он в своих произведениях, прежде всего в 20-томном цикле романов «Ругон-Маккары», стремился отразить современную ему Францию в такой же полноте и обстоятельности, как изобразил Францию первой половины XIX века Бальзак в своей «Человеческой комедии». Во многом ему удалось осуществить этот грандиозный замысел. «По романам Золя можно изучать целую эпоху», – писал Максим Горький.

У автора «Ругон-Маккаров» были все основания сказать о своем наследии: «Здесь есть и социальное исследование: мелкая и крупная буржуазия, проституция, преступность, земельный вопрос, деньги, буржуа, народ – тот, который гниет в клоаках пригородов, и тот, который поднимает восстания в крупных промышленных центрах, – весь бурный поток победившего социализма, который несет в себе зародыш новой эры... здесь все: прекрасное и отвратительное, низкое и высокое, цветы, грязь, рыдания, смех – словом, весь поток жизни, который куда-то постоянно несет человечество».

В самом обширном и разнообразном изображении этого потока, в этом течении жизни и видел Золя основную цель своего творчества, направленную прежде всего на объективный мир, социальную действительность, на их тотальное художественное познание и воспроизведение. В конце XIX – начале XX века он принадлежал к самым известным писателям, к тем, которые оказали весьма значительное влияние на тогдашнюю европейскую литературу и духовную культуру – наряду с Г. Ибсеном и Ф. Ницше, Ш. Бодлером и А. Стриндбергом, открытыми в то время на Западе русскими Л. Толстым и Ф. Достоевским. Но его творчество имело иную векторность и доминанту, чем у названных писателей (за исключением разве что Толстого), активно причастных к созданию модернистской литературы. Основным смысл и пафос произведений Золя заключался в художественном освоении объективной действительности, и в этой области он сделал очень много, больше, чем кто-либо из тогдашних литераторов. Но это отнюдь не исключает связей и совпадений его творчества с доминирующими тенденциями литературного процесса, даже значительного влияния его натуралистической прозы на их развитие.

Родился Эмиль Золя 2 апреля 1840 года в городе Экс, на юге Франции, в семье инженера-строителя, итальянца по происхождению. Там же, в Эксе, который впоследствии в «Ругон-Маккарах» станет прообразом города Плассана, прошли его детство и юность. Золя был еще мальчиком, когда умер отец, и семья оказалась в трудном материальном положении. Учился будущий писатель в местном лицее, самое примечательное событие его школьных лет – дружба с Полем Сезанном, которую оба пронесли через всю жизнь.

Восемнадцатилетним юношей Золя переезжает в Париж с твердым намерением стать писателем. Живет бедно на случайные заработки, в неотапливаемой зимой мансарде, но непреклонно идет к своей цели. Дела немного улучшились, когда ему удалось устроиться в парижское издательство «Ашетт», удачей было и то, что эта служба открывала ему доступ в литературные круги столицы.

Писать Золя пробовал еще в лицее, причем начинал как поэт-романтик. В первые годы пребывания в Париже он создал масштабные по замыслу романтические поэмы. Далее эстетико-литературные ориентиры Золя быстро меняются: в середине 60-х годов он становится сторонником реализма, а к концу того же десятилетия приходит к натурализму. В 1864 году появляется его первый прозаический сборник «Сказки Нинон», романтический по своему характеру, навеянный легендами и преданиями родного Прованса. Романы середины 60-х годов, в частности «Исповедь Клода» и «Завещание умершего», отражают эстетико-художественную эволюцию молодого писателя, поиски своего пути в литературе. Первым зрелым произведением Золя справедливо считается роман «Тереза Ракен» (1868), который, вместе с

«Жермини Ласерте» Э. и Ж. Гонкуров, был одним из первых натуралистических романов во французской литературе. Далее появляется роман «Мадлен Фера» (1869), и в это же время возникает замысел значительного творения романного цикла «Ругон-Маккары». До франко-прусской войны 1870–1871 годов был написан первый роман цикла «Карьера Ругонов», но книга вышла уже после окончания войны и Парижской коммуны, осенью 1871 года.

Когда прусские войска начали продвигаться в Париж, Золя уехал на юг Франции, где оставался до марта 1871-го. Республиканец и демократ по убеждениям, он приветствовал падение ненавистной Второй империи; дальнейшие драматические события французской истории вызывали у него замешательство. Восприняв Парижскую коммуну как взрыв разрушительной стихии, Золя не стал ее сторонником; возмущала его и политика версальцев и их террор: «Это отвратительно. Идет братоубийственная война, и у нас прославляют тех, кто убил больше своих сограждан! Абсурд!» К Третьей республике Золя сначала отнесся благосклонно, однако прошло немного времени, и он убедился, что коренных изменений не произошло, что богатство и власть принадлежат тем же людям, что и при Второй империи.

Разочарованный в общественно-политических делах, Золя на некоторое время отходит от них и сосредоточивается на творчестве, постепенно возводя гигантское сооружение «Ругон-Маккаров». Отличаясь необыкновенной собранностью, Золя методично осуществляет свой план, ежегодно выдавая по роману: «Добыча» (1872), «Чрево Парижа» (1873), «Завоевание Плассана» (1874), «Проступок аббата Муре» (1875), «Его превосходительство Эжен Ругон» (1876), «Ловушка» (1877)... Романы появляются один за другим, но желанный успех не приходит, нет и материальной обеспеченности. С каждым новым произведением критика все с большим рвением набрасывается на Золя. В каких только грехах его не обвиняют! В безнравственности и развращенности, в патологической страсти ко всему грязному и низменному; в органической неспособности замечать в жизни светлое и высокое и т. д. Один из критиков утверждал, что Золя – явление скорее не литературы, а психопатологии и заняться им должны ученые-медики.

В чем же причина таких ожесточенных нападков на Золя, которые по резкости своей превзошли даже нападки на Бальзака и Флобера? Конечно, для многих критиков был неприемлем принцип бескомпромиссной правды в изображении действительности, а его последовательно придерживался автор «Ругон-Маккаров». Помимо того, Золя, утверждая новую эстетику, новое понимание художественной правды, решительно ломал ограничения и запреты в отношении определенных сфер жизни, которые считались «неэстетичными», противопоставляемыми искусству. В частности, вводил в литературу «человека физиологического», что в то время считалось недопустимым и категорически осуждалось критикой.

Однако, несмотря на ожесточенное противодействие критики, авторитет Золя в литературе неуклонно рос. После публикации «Ловушки» в 1877 году к нему наконец приходит слава, отчасти скандальная. Критики прямо-таки набросились на этот роман, где с невероятной правдивостью показана беспросветная жизнь парижского рабочего предместья; впрочем, эти нападки только разжигали интерес читателей, и в течение года «Ловушка» выдержала несколько изданий.

В середине 70-х годов творчество Золя получило признание у лучших мастеров художественного слова – Г. Флобера, Э. Гонкура, А. Доде, И. С. Тургенева, он становится участником знаменитых «обедов пяти». И хотя в этот период Золя много внимания уделял обоснованию и защите натурализма, это не отразилось на интенсивности его художественного творчества. Работа над «Ругон-Маккарами» продолжается с той же методичностью, и в 80-х и в начале 90-х годов выходят романы «Дамское счастье» (1883), «Жерминаль» (1885), «Земля» (1867), «Деньги» (1891), «Разгром» (1892). «Ругон-Маккары» были завершены в 1893 году романом «Доктор Паскаль».

Вскоре Золя начинает работать над двумя новыми циклами, связанными между собой: над трилогией «Три города» – в нее вошли романы «Лурд» (1894), «Рим» (1896) и «Париж» (1898) – и тетралогией «Четыре евангелия» с романами «Плодовитость» (1899), «Труд» (1901), «Истина» (выходит посмертно в 1903 году) и «Справедливость», который не был написан. В обоих циклах проявляется активный интерес Золя к насущным общественным проблемам. Однако романы последних лет все больше смещаются в плоскость социальной утопии, перенасыщены умозрительными построениями и проповедью. Опираясь на эволюционную теорию развития общества, Золя утверждает здесь веру в неизбежное торжество труда и науки, в их способность преобразовать общество.

Высокое гражданское мужество проявил Золя в деле Дрейфуса, которое в конце прошлого века всколыхнуло всю Францию. Капитан Дрейфус, еврей по происхождению, был заподозрен в шпионаже в генеральном штабе и приговорен военным трибуналом к пожизненной каторге. Убедившись по переданным ему документам, что Дрейфус невиновен, Золя опубликовал открытое письмо президенту республики Форю под заголовком «Я обвиняю», где разоблачил реакционную военщину и во имя справедливости требовал пересмотра дела. Письмо вызвало настоящую бурю во Франции и преследования писателя, который вынужден был уехать в Англию. По этому поводу А. П. Чехов писал: «Золя вырос на целых три аршина, от его протестующих писем будто свежим ветром повеяло, и каждый француз почувствовал, что, слава Богу, есть еще справедливость на свете и, когда осудят невинного, есть кому заступиться».

Умер Эмиль Золя 29 октября 1902 года, угорев в своей парижской квартире.

Утверждая своим творчеством натурализм во французской литературе (поскольку Золя был ведущим мастером этого художественного направления, натурализм часто называли «золяизмом»), Золя в 70—80-х годах большое внимание уделял также его теоретическому обоснованию – публиковал сборники теоретических и критических работ – «Экспериментальный роман» (1880), «Натурализм в театре» (1881) и другие. У него появляются последователи среди молодых писателей, в конце 70-х годов создается «Меданская группа», в которую вошли Ги де Мопассан, П. Алексис, А. Сеар, Л. Энник и К. Гюисманс и которую Золя возглавил.

Натурализм был закономерным порождением литературного процесса второй половины XIX века, когда неоспоримо доминировала наука в интеллектуальной и духовной жизни, интенсивно воздействуя на другие виды духовно-творческой деятельности. Вкратце перечислим его фундаментальные черты: а) сциентизм, т. е. ориентация художественного мышления на научное, тенденция приближения задач и функций литературы к научным (наблюдение, изучение и «точное» отражение жизненных явлений); б) объективность, т. е. изображение действительности как таковой, что якобы сама себя разворачивает и рассказывает, без самовыражения автора, который постулируется внесубъективно, как сознание эпохи; в) мировоззренческий монизм, включающий человеческий мир в мир природы, охватывающий их единым взором и подчиняющий общим законам, сочетание в мотивациях изображаемого природных (физических, биологических, физиологических и др.) и социальных подходов и моментов; г) принцип жизнеподобия, что, с одной стороны, порождает интенцию для документальности повествования или изображения, а с другой – к воспроизведению жизни в повседневно-бытовом правдоподобии, известной натуралистической фактографичности.

Генетически и типологически натурализм связан с реализмом, особенно с его французским вариантом; он продолжил и довел до завершенности присущие ему интенции и структуры. На европейском фоне тип реализма, развившийся во французской литературе, характеризуется такими специфическими чертами, как ориентированность на естественные науки и методологию научного мышления и связанный с ними «объективный метод». Они наблюдаются уже у Стендаля и Бальзака, но проявляются у них по-разному. У Стендаля, которого осо-

бенно интересовала психология человека, появляется интерес к физиологической основе психических процессов, и он записывает: «Чтобы познать человека, нужно мужественно начинать с самых основ, с физиологии». У Бальзака сциентистские интенции в основном направляются в другую сторону – в сторону поисков научных основ реалистического метода. А во второй половине XIX века Флобер, провозглашая свой «объективный метод», уже прямо призывает писателей брать за образец науку и вдохновляться примером ученых в стремлении к объективному и беспристрастному изображению действительности и человека.

Завершенное воплощение все эти тенденции нашли в натурализме, в частности у Золя. Следует отметить, что сам Золя выводил натурализм непосредственно из реализма XIX века, а Стендаля, Бальзака и Флобера считал своими прямыми предшественниками и наставниками. Но вместе с тем он указывал, что между ним и Бальзаком и Флобером существует и важное различие, а именно: в отличие от предшественников, которые не освободились окончательно от романтических «преувеличений» и «фантазий», он их преодолел и поставил литературу на прочную основу «научного метода».

Отметим, что именно натуралисты, и прежде всего Золя, ввели в литературу и литературную критику понятие «метода» и начали широко им пользоваться. Оно было заимствовано из науки и как бы свидетельствовало о «научности» их художественной системы, ее задач и целей, принципов и приемов.

Упрощенно понимая связь между литературой и наукой, натуралисты приходили к прямолинейному переносу научных методов и приемов на литературное творчество. Они считали, что все отношения, включая и общественные, являются составляющими природы и должны истолковываться на основе единых, прежде всего биологических, законов и принципов. Но при этом они, в частности Золя, не редуцировали сферу общественной жизни и присущих ей специфических законов и отношений, точнее, они стремились социальное познание дополнить и углубить «научным», биолого-физиологическим познанием человека и общества, опираясь на достижения естественных наук. По крайней мере, для Золя в этом заключалась центральная проблема его творчества. В ней он шел от изучения человека как физиологической особи к изучению ее в общественной среде и к изучению общества в целом, существующих в нем законов и отношений.

В натурализме приобрела завершенное развитие и другая характерная тенденция реализма XIX века – тяготение к «жизнеподобию», к «изображению жизни в формах самой жизни». Наблюдать, изучать, точно описывать – так формулировали натуралисты основной принцип своего творческого метода. Первостепенное значение они придавали развернутому и точному описанию фактов действительности, «кусков жизни» по их терминологии, видя в таких описаниях, согласно методологии позитивистского мышления, необходимое условие правдивости искусства. Они считали, что истина жизненных явлений полностью заложена в них самих, и раскрыть ее можно только путем их точного описания.

Кстати, Золя на протяжении всей жизни считал, что самое ценное в его романах – богатство и точность описаний, тогда как настоящее его величие начинается там, где он вырывается из плена этой точности на пространство масштабного осмысления и интерпретации действительности.

Вершина творчества Золя – двадцатитомная эпопея «Ругон-Маккары»; как отмечалось, замысел эпопеи приходится на конец 60-х годов, в феврале 1869-го Золя опубликовал проспект тогда еще десяти томного сериала, где сформулировал его главные задачи. Во-первых, «научное» состояло в том, чтобы «на примере одной семьи изучить вопрос наследственности и среды. Шаг за шагом проследить ту сокровенную работу, которая наделяет детей одного отца различными страстями и различными характерами в зависимости от скрещивания наследственных влияний и неодинакового образа жизни». Во-вторых, «социальное» имело следующие задачи: «Изучить всю Вторую империю от государственного переворота до наших дней.

Воплотить в типах современное общество, негодяев и героев. Описать, таким образом, социальный возраст человечества – в фактах и переживаниях, – изобразить в бесчисленных конкретностях обычаев и событий».

С этими формулировками перекликается подзаголовок, который Золя дал «Ругон-Маккарам» – «Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи». Хронологические рамки всего цикла четко определены историей: это период Второй империи, установившейся во Франции в результате государственного переворота 1851-го и потерпевшей позорный крах во франко-прусской войне 1870–1871 годов. Сама история замкнула этот период, когда Золя начал работу над «Ругон-Маккарами», и тем самым дала ему «жестокую и необходимую развязку» (предисловие к «Карьере Ругонов»). Хотя Золя не выходил за хронологические рамки Второй империи, мы то и дело встречаемся с «внутренними» выходами: осмысливая и интерпретируя важные явления и проблемы, писатель постоянно опирался и на общественно-исторический опыт 1870–1880 годов, и в значительной мере отражал его. Так, в «Жерминале» фактически отражена стадия рабочего движения, достигнутая им в первой половине 80-х годов; то же можно сказать об отражении процесса концентрации капитала в «Дамском счастье» или «Деньгах» и т. д.

Как писатель-натуралист, Золя включает семью Ругон-Маккаров в ряд природных явлений и подчиняет ее действия общим законам природы. Но одновременно выделяет социальный мир, общество из мира природы, осознавая автономность существующих в нем отношений и факторов; они у Золя, так сказать, действуют параллельно с природными, не растворяясь в них. Семья для него – это клетка «социального организма», подлежащего действию как биологических, так и социальных законов.

Следует указать на существенное отличие биологизма Золя по сравнению с биологизмом многих поздних натуралистов, испытавших сильное влияние социального дарвинизма, который механически распространял на общество законы живой природы – борьбу за существование, естественный отбор и т. д., и это приводило к подмене общественных законов биологическими. Золя же интересовало прежде всего (если не исключительно) действие механизма наследственности, и именно раскрытие его составляло основную «научную проблему» цикла. Писатель ставил своей неперменной задачей найти «генетический код» каждого персонажа и показать его в действии – как он проявляется в склонностях и пристрастиях, в характерах и поступках, в жизненных судьбах разных членов семьи. Да и весь огромный сериал должен был продемонстрировать неумолимое действие закона наследственности – в том, как в конечном итоге по-разному складывались судьбы потомков Ругона, имевших здоровую наследственность, и потомков Маккара с неполноценной наследственностью, пораженной алкоголизмом. Нельзя забывать и о том, что наследственности Золя не придавал абсолютного значения – это «следствие скрещивания наследственных влияний и неодинакового образа жизни», то есть общественной среды.

Не менее важной задачей Золя было «изучить всю Вторую империю», «воплотить в типах современное общество», изобразить целый «социальный возраст человечества». А это уже не что иное, как продолжение бальзаковской традиции, бальзаковской социальной эпикки, и не случайно, как свидетельствуют очевидцы, на рабочем столе Золя лежали тома «Человеческой комедии» – для вдохновляющего примера. Вместе с тем Золя беспокоился, чтобы «Ругон-Маккары» не производили впечатления простого продолжения «Человеческой комедии», отсюда его заметки «Различия между Бальзаком и мной». Основным отличием Золя считал то, что сам он последовательно придерживается «научного метода», тогда как создатель «Человеческой комедии» грешил романтизмом; отмечал он также и структурно-композиционные различия, указывая на то, что главным героем «Ругон-Маккаров» выступает одна семья, тогда как «книги Бальзака заселяет весь мир».

Впрочем, принципиального различия здесь на самом деле нет, поскольку Золя позаботился о том, чтобы семья Ругон-Маккаров, чрезвычайно разветвленная, была связана со всеми слоями общества, разными его уровнями и могла представлять всю его социальную структуру. Итак, история семьи Ругон-Маккаров является также полем широкого социального исследования. Поскольку для Золя семья – это клетка «социального организма», все то, что в ней происходит, должно характеризовать общество в целом, фокусируя в себе его интересы и стремления, добродетели и пороки, контрасты и противоречия. Республиканец и демократ, Золя очень критически относился к отраженной им эпохе (широко известно его определение Второй империи как «эпохи безумия и позора»). Разгул эгоизма и корысти, жажда богатства и наслаждений, моральная растленность, характерные для этой эпохи, захватывают и семью Ругон-Маккаров, представители которой «будут гнаться за быстрым и неразборчивым в средствах обогащением». Одни из них разбогатеют, другие, как писал Золя в анализируемом проспекте, «останутся бедными, но болезнь времени тоже не пощадит их ума и тела». А в итоге все они «своими личными драмами рассказывают о Второй империи», проявляют ее низменную сущность и объясняют неизбежность ее позорного краха.

Весь цикл «Ругон-Маккары» можно условно разделить на определенные проблемно-тематические группы. К первой из них отнесем романы о крупной буржуазии: «Добыча», «Дамское счастье» и «Деньги». Здесь связь Золя с бальзаковской традицией, его «преемственность» особенно очевидны. По словам П. Лафарга, Бальзак был «не только историком общества своего времени, но и творчески предвосхитил те фигуры, которые при Луи-Филиппе находились еще в зачаточном состоянии и только после смерти Бальзака, при Наполеоне III, достигли полного развития». Как гласит статья Золя «“Человеческая комедия” Бальзака», этот факт осознавался автором «Ругон-Маккаров», и он, ставя целью «воплотить в типах современное общество», нашел «бальзаковских» персонажей в действительности, «только они стали еще наглее и бесстыднее» в новом «социальном возрасте человечества», изобрели еще более эффективные средства «ограбления общественных богатств».

Вторая тематическая группа – это романы о мелкой буржуазии, сытое и самодовольное французское мещанство, которое было верной опорой режима Второй империи. К этой группе в значительной степени принадлежит целый ряд романов, а сердцевину ее составляют «Чрево Парижа» и «Накипь» (1882).

Принципиально важную тематическую группу составляют романы о трудовом народе – о ремесленниках и рабочих парижских пригородов («Ловушка», 1877), об углекопах и борьбе труда и капитала («Жерминаль», 1885), о французском крестьянстве и власти земли над его жизнью и сознанием («Земля», 1887). Тема народа входит и в ряд других романов, занимая в некоторых из них значительное место, как в «Карьере Ругонов», где изображено выступление крестьян и ремесленников в защиту республики в 1851 году, в «Разгроме», где Золя одним из первых в мировой литературе показал народ на войне. Во всех этих произведениях раскрывается глубокий демократизм писателя, его искренняя симпатия к трудовому народу. Народ изображен в «Ругон-Маккарах» жертвой социальной несправедливости, «добычей» буржуа-хищников, всевозможных аферистов, спекулянтов, которым режим Второй империи открыл широкие возможности. В то же время Золя, все глубже задумываясь о перспективах движения общества, постепенно приходит к осознанию народа как великой исторической силы, без которой невозможно представить будущее («Жерминаль»).

В «Ругон-Маккарах» охватываются и другие сферы тогдашней французской действительности, жизни других общественных слоев и групп. Значительное внимание уделено церкви и церковникам в романах «Завоевание Плассана» и «Проступок аббата Муре»; в первом разоблачено неприглядную общественно-политическую практику духовных лиц, а во втором показано, насколько христианско-аскетические догмы противоречат законам природы, стихии жизни, насколько они чужды и враждебны им. Правящую верхушку Второй империи изобра-

жено в романе «Его превосходительство Эжен Ругон», которым Золя положил начало жанровой разновидности политического романа во французской литературе. Присущие Второй империи моральная растленность, жажда чувственных наслаждений отражены в «Нана» – романе о жизни куртизанок; и одновременно, по определению автора, это роман о «растлении, идущем с низов, ловушке, которой правящие классы дали свободно развиваться». Артистической среде, проблемам искусства посвящен роман «Творчество» (1886), который дает очень много для выяснения эстетических взглядов Золя периода творческого расцвета.

Кроме того, в цикл «Ругон-Маккары» входят романы, где Золя ставит научные или научно-философские проблемы, – в какой-то степени они являются аналогом «философских этюдов» в «Человеческой комедии», по крайней мере, на них возлагаются близкие или схожие задачи. Отчасти это присуще уже «Аббату Муре», но особенно характерны в этом отношении романы «Радость жизни» и «Доктор Паскаль», где Золя стремился истолковать научно-философски огромный эмпирический материал. В ряде романов «научная» и «социальная» тематики сочетаются; показательный в этом плане роман «Человек-зверь», в котором изображение железной дороги и труда железнодорожников переплетается с изучением ужасного невроза, которым болеет главный персонаж Жак Лантье.

И, наконец, есть небольшая группа романов, которую автор определил как «лирические» – в противовес основному массиву «экспериментальных». Эти романы («Страница любви», «Мечта», отчасти «Проступок аббата Муре» и «Радость жизни») отличаются и по содержанию, которое характеризуется определенной камерностью и тонким психологизмом, и по колориту – они написаны как бы акварельными красками; в них отсутствует, говоря словами Горького, «мрачная, нарисованная темными масляными красками, живопись Золя». Вкрапленные в цикл, они должны были несколько разнообразить его и изображением светлых сторон человеческой души нарушать гнетущую монотонность тяжелых картин суровой действительности, ее жестокости и грязи. Этими романами Золя также доказывал, что он не только «грубый физиолог», как о нем говорила критика, но и «психолог», ему доступны деликатные стороны человеческой души, сфера одухотворенных переживаний и настроений.

Особое место в структуре цикла принадлежит романам «Карьера Ругонов» – с одной стороны, и «Разгром» и «Доктор Паскаль» – с другой. «Карьера Ругонов» – это пролог к циклу или, точнее, его развернутая интродукция; как свидетельствует авторское предисловие, этому произведению Золя дал второе название – «Происхождение», поскольку речь в нем идет об истоках режима Второй империи и о происхождении семьи Ругон-Маккаров. Он сочетает в себе черты романа социально-политического и семейно-бытового с очевидным преимуществом элементов первого. «Разгром» и «Доктор Паскаль» – двойной итог цикла – социально-исторический (позорный крах Второй империи) и научный (действие закона наследственности в семье Ругон-Маккаров).

Особое место в «Ругон-Маккарах» и во всем творчестве Золя занимает «Жерминаль» – роман о жизни шахтеров, о борьбе труда и капитала. Вместе с тем этот роман – принципиально важная веха на пути художественного освоения рабочей темы во французской и европейской литературе.

Рабочая тема достаточно широко вошла в западноевропейскую литературу еще в середине XIX века. Ведущая роль в ее разработке принадлежала тогда английской литературе, где под влиянием чартистского движения в конце 40—50-х годов появляются такие известные романы, как «Шерли» Ш. Бронте, «Тяжелые времена» Ч. Диккенса и «Мэри Бартон» Э. Гаскелл. Их авторы главной своей задачей ставили изображение бедственного положения рабочих, их угнетения и эксплуатации с тем, чтобы пробудить моральную совесть общественности, вызвать возмущение социальной несправедливостью и сочувствие к ее жертвам. Собственно, этим и исчерпывалась их общественно-идейная программа. Узость кругозора не позволяла

взглянуть на рабочий класс и его борьбу в перспективе социально-исторического развития человечества.

В конце XIX века наступает новый этап в разработке рабочей темы: в европейских литературах появляются произведения, характеризующиеся новыми типологическими чертами. Принципиальное их отличие в том, что в них рабочее движение уже связывается с социализмом и в той или иной степени трактуется в свете социалистических идей. В рабочих видят уже не только жестоко притесняемую мученическую массу, но и большую общественно-историческую силу, которая со всей убедительностью заявит о себе в будущем. Первыми такими произведениями были роман И. Франко «Борислав смеется» (1881) и роман Золя «Жерминаль» (1885). Поскольку роман Франко не знали тогда за пределами украинской литературы, то практически новый этап разработки рабочей темы в европейских литературах берет начало из «Жерминаля».

Здесь необходимо вспомнить, что широкое вхождение рабочей темы в литературу связано именно с натурализмом, и немалую роль в этом сыграл «Жерминаль» Золя. Этот роман пользовался высоким авторитетом среди французских писателей-натуралистов, которые в разработке рабочей темы придерживались заложенной им традиции (Л. Декав, Ж. Рони-старший, В. и П. Маргериты, О. Мирабо и другие). То же самое следует сказать и о романе «Клещи» классика бельгийской литературы К. Лемонье. Еще более значительным было влияние «Жерминаля» на немецкую литературу, здесь он, по словам Р. Гаманна, «подействовал на немецких адептов Золя как откровение, как библия правды, которая придала совсем другой оборот «пролетарскому» искусству». Дошло до того, что на границе 80—90-х годов немецкая социал-демократическая партия, которая считалась тогда образцовой в Европе, склонялась к взгляду на натурализм как художественное выражение рабочего и социалистического движения, что отразилось и в статьях Ф. Меринга, написанных в этот период.

Золя так формулировал замысел романа, его идейную программу: «Роман – восстание наемных рабочих. Обществу нанесен удар, от которого оно трещит; словом, борьба труда и капитала. В этом весь смысл книги: она предвещает будущее, ставит вопрос, который станет самым важным в XX веке». На то же время приходится известное признание писателя: «Теперь, когда я берусь за изучение какого-либо вопроса, я неизменно попадаю на социализм». Сами же эти студии охватывали преимущественно труды о рабочем и социалистическом движении, писатель ознакомился также с марксизмом (но не примкнул к нему), проявлял также интерес к деятельности I Интернационала.

Натуралисты ввели в творческую практику предварительную подборку и изучение жизненного материала. Неуклонно придерживался этой практики и Эмиль Золя. Так, написанию романа «Ловушка» предшествовало изучение жизни трудового народа в Сент-Антуанском предместье, приступая к роману «Дамское счастье», он тщательно знакомился с функционированием большого парижского универмага, задумав роман «Деньги», Золя посещал биржу и интересовался финансовыми операциями и т. д. Подготовительные студии к «Жерминалю» включили посещение Анзена – каменноугольного района на севере Франции, где весной 1884-го произошли события, которые легли в сюжетную основу романа. Попастъ туда было непросто, потому что правительство закрыло доступ к этому району, и Золя пришлось оформиться секретарем знакомого парламентария, члена комиссии, которая расследовала дело. В Анзене писатель тщательно изучал условия жизни и труда шахтеров, посещал их семьи, спускался в шахты и ползал на четвереньках в тесных забоях, расспрашивал о забастовке и расстреле забастовщиков войском. Это все дало произведению особую убедительность, в нем ощутимо горячее дыхание жизни, его трепет.

В романе находим широкие и подробные описания шахтерского поселка, помещений шахтеров, их быта и обычаев, условий труда и т. д. Конфликт намечается постепенно и развивается медленно, вырастая из аналитически описанной среды, из структуры данного «куска

жизни», как это и определено принципами «экспериментального романа», разработанными Золя. В такой эстетико-художественной системе, которой придерживался автор «Жерминаля», без этих развернутых и подробных описаний, без этого основательного бытового оснащения сюжета изображенные в романе события, конфликт между шахтерами и каменноугольной компанией считались бы недостаточно мотивированными и достоверными.

Сюжет «Жерминаля» на длительное время стал в европейской литературе сюжетной моделью романов на рабочую тематику. В шахтерский поселок прибывает молодой рабочий, парижанин Этьен Лантье, носитель более высокого рабочего сознания. Стремясь помочь своим «братьям по классу», он организует на шахте забастовку, к которой присоединяются другие шахты. Один из кульминационных моментов произведения – сцена шахтерской сходки, где было принято коллективное решение о совместном выступлении. С этого времени внимание Золя все больше переключается на рабочую массу, которая пришла в движение, появляется все больше мастерски выписанных сцен и картин, которые свидетельствуют о появлении массового героя – пролетариата, поднявшегося на борьбу. Рисуя массовые сцены, писатель снова, как и в «Карьере Ругонов», прибегает к романтическим краскам и тональностям, как, например, в сцене рабочей сходки в лесу: «На сходку собралось около трех тысяч шахтеров; народ толпился, мужчины, женщины, дети мало-помалу заполнили всю поляну вплоть до дальних деревьев. То и дело подходили запоздавшие; окутанные мраком фигуры маячили в ближних зарослях, и по неподвижному застывшему лесу, словно ветер в бурю, проносился гул голосов». И далее «...луна заливала всю прогалину вплоть до отдаленной лесной поросли, резко вычерчивая волнуемое море голов и серые стволы исполинских деревьев. В морозном воздухе мелькали возбужденные лица изголодавшихся людей – мужчин, женщин, детей, с блестящими глазами, раскрытыми ртами, готовых ринуться вперед и взять с бою отнятое у них исконное добро».

В момент наивысшего обострения борьбы верх берут стихийные силы рабочего движения, разыгрывается грозная стихия гнева, мести, уничтожения. Разъяренная толпа, отчаявшись от голода, хлынула от шахты к шахте, все разрушая на своем пути, и этот взрыв стихии вызывает у Золя сложную реакцию восхищения и страха. Он рисует такую апокалиптическую картину гибели старого мира: «То был красный призрак революции. В этот кровавый вечер на исходе века он увлекал всех, как неотвратимый рок. Да! Придет время, и предоставленный самому себе своевольный народ будет так же метаться по дорогам и проливать кровь богачей, рубить им головы и сыпать золото из распотрошенных сундуков. Так же будут вопить женщины, и мужчины будут щелкать волчьими челюстями. Такие же лохмотья, такой же грохот сабо, такое же страшное месиво грязных тел и чумного дыхания сметут старый мир в жестокой схватке».

Здесь будущая революция изображается как своеобразный катаклизм, близкий по своему характеру к катаклизмам мира природы. Однако не следует этот романтический образ революции воспринимать как прямое выражение социально-философских взглядов автора, отразившихся здесь односторонне в художественно заостренной форме. С уверенностью можно сказать только то, что Золя был склонен акцентировать элемент стихийности в рабочем движении и, соответственно, недооценивать значение его политической организованности. Отсюда его придиричливо-критическое, а то и уничижительное изображение представителей различных течений тогдашнего социалистического движения, которых находим среди персонажей романа. Это и Раснер, главный соперник Этьена Лантье, представляющий посибилизм, чисто реформистское течение, и гедист Плюшар, и анархист Суварин, бывший российский народо-волец, программа которого восходит к тотальному разрушению существующей цивилизации, что является необходимой предпосылкой появления будущего общества, свободного от зла и пороков уже существующего. Ни один из них не способен возглавить рабочую массу, к тому же, как подчеркивает Золя, каждый из них, поднявшись над этой массой, внутренне от нее уже

оторвался. Наибольшую симпатию вызывает у автора Этьен Лантье, свободный от партийного политиканства, слитый с шахтерской массой. Но и он не является настоящим вожаком масс, о чем прямо говорится в романе: «...он никогда не руководил ими, – они сами вели его, побуждая на такие поступки, которых он никогда бы не совершил, если бы на него не напирала сзади смятенная толпа».

Как отмечалось, натуралистический метод Золя совмещал «естественное» и «социальное исследование», физиологические и социальные мотивации изображаемого. И в двадцати романах цикла «Ругон-Маккаров» находим различные соотношения этих элементов и мотиваций. В одних романах, например, таких, как «Земля» или «Человек-зверь», на передний план выходят «естественные» задачи, и в персонажах этих романов «физиологический человек» явно теснит «социального». Роман «Жерминаль», в котором писатель поднимал насущные общественные проблемы, прежде всего – проблему «борьбы труда и капитала», – принадлежит к романам другой группы, которые продолжают традицию французской реалистической прозы. Социальная доминанта этого романа бесспорна, но это не означает, что мотивы «биологической истории» семьи Ругон-Маккаров в нем отсутствуют. Главный его персонаж Этьен Лантье тоже отягощен наследственностью ветки Маккаров, он является родным братом «человека-зверя» Жака Лантье, и в нем тоже просыпается «зверь», когда он яростно сражается с Шавалем. Об этом он вспоминает «с чувством жгучего стыда и раскаяния: дикий хмель, можжевелевая водка на голодный желудок в сильный мороз, и сам он, бросающийся с ножом на Шавалю. От этого он приходил в неведомый дотоле ужас. Это был родовой недуг, долгая наследственная цепь пьяного разгула...» Этот мотив находит в романе развитие и завершается убийством Шавали в заваленной шахте.

Теоретически Золя считал, что в идеале литературное произведение должно быть «протоколом жизни», который не оставляет места выдумке и воображению. Однако писателю было тесно в собственных теоретических прописях, и более того – в рамках реалистично-натуралистической художественной парадигмы. В нем жил темперамент романтика, постоянный порыв к далеко идущим проекциям и масштабным обобщениям проявляется почти во всех его романах. Отсюда обращение к символике и мифологическим мотивам и образам, к специфическому мифотворчеству, которое является существенным элементом поэтики его романов. Достаточно примечателен в этом плане и роман «Жерминаль».

Всего в художественной системе реалистично-натуралистической литературы миф и мифотворчество не относятся к ее конституирующим составляющим. Ее ведущая установка заключалась в том, чтобы, как писал Л. Толстой, «быть до мельчайших подробностей верным действительности». Однако это не означает, что потенции, заложенные в мифе и мифотворчестве, оказались ей чуждыми и не использовались ею. Ведь «миф – определенный сверхобраз, выражение того, что содержат природа и история... В мифе изгоняется на поверхность вся скрытая жизнь явления, будь то силы положительные или разрушительные» (Н. Берковский). К этому потенциалу мифа часто прибегал и Эмиль Золя, вводя в свои натуралистические романы мифические образы и параллели, реминисценции и аллюзии. Они проливали неожиданный свет на изображаемую обыденность и придавали тривиальным фигурам и драмам новые измерения и смыслы.

Так, финал романа «Завоевание Плассана», в котором Франсуа Муре ночью поджигает свой дом, сжигает ненавистного аббата Фожа и сам погибает в пламени, вызывает параллель с библейским мифом о Самсоне, создает мифологический подтекст и выводит изображаемое на пространство универсально-символического обобщения. Мифологические аналогии, образы, аллюзии появляются почти в каждом его романе: это и парк Парадю («паду» – рай по-провансальски) в «Проступке аббата Муре», и центральный рынок, «чрево Парижа» в одноименном романе, и паровоз «Лизон» в «Человеке-звере», и Нана – «Астарта Второй империи» в романе «Нана» и т. д.

Не является исключением в этом плане и роман «Жерминаль». В нем особое место занимает мифический антропоморфный образ шахты – допотопного чудовища, требующего постоянных человеческих жертв. Ему присуща упомянутая обобщающе-символическая функция подобных образов и мотивов в романах Золя. Этот образ шахты – современного Молоха – начинает вырисовываться уже на первых страницах произведения: «Эта шахта с приземистыми кирпичными зданиями, осевшая в ложбине, выставившая кверху дымовую трубу, словно грозный рог, казалась ему притаившимся ненасытным зверем, готовым поглотить весь мир». Это чудовище с разинутой пастью каждое утро поглощает людей и изрыгает их вечером, уставших и выжатых, если не оставляет в своем чреве. Разрушение и завал шахты, устроенный Сувариним, патетически изображается Золя как гибель живого мифического чудовища: «Мужество покинуло Негреля; при одной только мысли о человеке, совершившем это, у него волосы встали дыбом. Он похолодел от мистического страха перед всепожирающим злом, как будто виновник такого невероятного преступления находился еще здесь, прячась во мраке». И «хищному зверю, притаившемуся в этом логове, пожравшему столько человеческих жизней, пришел конец».

В последних частях романа сокращаются развернутые и достаточно статичные описания, действие ускоряется и приобретает все большее драматическое напряжение. Одновременно писатель все дальше отходит от принципа жизнеподобия, появляются теоретически осуждаемые Золя «романтические» преувеличения и драматические эффекты, не без мелодраматического обострения. Характерен в этом плане эпизод, в котором умирающий дед Бессмертный душит последним усилием Сесиль, дочь буржуа Грегуаров. Вполне романтическая по своему духу и стилю «брачная ночь» Этьена и Катрины в заваленной шахте возле трупа Шавалья.

Распространенным является толкование «Жерминаль» как «романа-предупреждения» – предупреждения общества о возможности взрыва, «социального катаклизма», если не будут приняты меры для улучшения положения трудового люда, в частности рабочих. На этот идейный мотив указывал и сам Золя в письме к журналисту Ф. Меньяру. Собственно, его красноречивым выражением является финал романа, где появляется весенний пейзаж с символическим подтекстом, который проясняет и название произведения. В республиканском календаре, введенном французской революцией конца XVIII века, жерминаль – месяц весеннего пробуждения природы, месяц поросли. Финал переносит это понятие на изображенные события и, переводя их в символический план, придает им масштабное социофилософское содержание. Оставляя шахту, Этьен Лантье идет по полям, пробужденным весной к жизни, и везде слышит глухие, упорные удары шахтерской кирки из-под земли. Этьену кажется, что это его товарищи поднимаются вверх, «растут из-под земли люди, черные ряды мстителей прорастают медленно, зреют в бороздах для жатвы грядущего века». Изображенные в романе события приобретают символику «красной лестницы» (один из предыдущих вариантов названия произведения) большой общественно-исторической силы, которая властно заявит о себе в будущем. Так художественно реализуется идея, декларированная автором в наброске романа: «Надо закончить грозным утверждением, что это поражение случайно, что рабочие склонились только перед силой обстоятельств, но в глубине души они мечтают о возмездии».

Подводя итоги завершенного цикла «Ругон-Маккары», Золя писал в 1896 году: «Вопрос лишь в том, удалось ли мне обобщить то, что носилось в воздухе в наше время, сумел ли я твердой рукой собрать колосья в сноп, смог ли охватить весь предмет, правдиво передать атмосферу, изобразить людей и явления, убедительно поставить проблему завтрашнего дня и предвидеть будущее». Можно с уверенностью сказать, что эта титаническая задача была реализована писателем в высокохудожественной форме, о чем свидетельствует негаснущий интерес к его творчеству как на родине Золя, так и в разных странах мира, в том числе и в Украине, где его романы были всегда популярны и издавались массовыми тиражами.

Дмитрий Наливайко

Часть первая



I

В густом мраке беззвездной ночи, по большой дороге из Маршьенна в Монсу, пролежавшей совершенно прямо между полями свекловицы на протяжении десяти километров, шел путник. Он не видел перед собою даже земли и лишь чувствовал, что идет по открытому полю: здесь, на безграничном просторе, неся мартовский ветер, подобный ледяному морскому шквалу, начисто подметая голую землю и болотистые топи. Ни дерева не было видно на фоне ночного неба; мощеная дорога тянулась среди непроглядной тьмы, как мол в порту.

Путник отправился из Маршьенна часа в два. Он шел большими шагами, в поношенной куртке из бумажной материи и в бархатных штанах, и дрожал от стужи. Его очень стеснял небольшой узелок, увязанный в клетчатый платок; то и дело он перекладывал его из одной руки в другую, стараясь зажать под мышкой так, чтобы легче было засунуть в карманы обе руки, заочневшие от восточного ветра и потрескавшиеся до крови. В опустошенной голове этого безработного, бездомного человека шевелилась одна лишь мысль, одна надежда, что с рассветом, может быть, потеплеет. Так он шел уже целый час и вот в двух километрах от Монсу увидел слева красные огни; казалось, в воздухе висели три жаровни с раскаленными угольями. Сперва это даже испугало путника, и он приостановился; однако он не смог побороть мучительного желания погреть руки, хотя бы одно мгновение.

Дорога спускалась в ложбину. Огни исчезли. Справа тянулся дощатый забор, за ним проходило полотно железной дороги; налево был откос, поросший травой; смутно выделялось селение с низкими однообразными черепичными крышами. Путник прошел еще шагов двести. Внезапно на повороте перед ним снова появились огни. Он не мог понять, как они могут гореть так высоко в темном небе – точно три туманные луны. Но в это время внимание его привлекла другая картина: внизу он увидел сгрудившиеся строения; над ними высился силуэт заводской трубы; в потускневших окнах кое-где мерцал слабый свет; снаружи, на лесах, уныло висели пять или шесть зажженных фонарей, так что едва можно было различить ряд почерневших бревен, похожих на гигантские козлы. Из этой фантастической громады, тонувшей в дыму и мраке, доносился один только звук – могучее, протяжное дыхание незримого паровика.

Путник понял, что перед ним угольные копи. Его охватило уныние: стоило ли туда идти? Там не найдешь работы. Вместо того чтобы направиться к шахтным постройкам, он взобрался на насыпь, где в трех чугунных жаровнях горел каменный уголь, освещая и обогревая место работ. Рабочим здесь приходилось трудиться до глубокой ночи, так как из шахт все еще пода-

вали отбросы угля. Тут путник расслышал грохот вагонеток, которые катили по мосткам; он различал движущиеся силуэты, люди сгружали уголь у каждой жаровни.

– Здорово, – сказал он, подходя к одной из жаровен.

Повернувшись спиной к огню, там стоял возчик, старик в лиловой шерстяной фуфайке и в шапке из кроличьего меха. Большая гнедая лошадь как вкопанная терпеливо ждала, когда освободятся шесть привезенных ею вагонеток. Тощий рыжий малый неторопливо опоражнивал их, механически нажимая рычаг. А вверху ледяной ветер свистал с удвоенной силой, проносясь, точно взмах косы.

– Здорово, – ответил старик.

Наступило молчание. Почувствовав недоверчивый взгляд возчика, путник поспешил назвать свое имя.

– Меня зовут Этьен Лантье, я механик... Не найдется ли для меня здесь работы?

Пламя освещало его; ему было, вероятно, не больше двадцати одного года. Черноволосый, красивый, он казался очень сильным, несмотря на небольшой рост.

Возчик на его слова отрицательно помотал головой:

– Работы для механика? Нет-нет. Вчера тоже двое приходили. Ничего нет.

Порыв ветра заставил их умолкнуть. Затем Этьен спросил, указывая на темную груду зданий у подножия холма:

– Это копи, не правда ли?

Старик не мог сразу ему ответить: его душил сильный приступ кашля. Наконец он отхаркнул, и в том месте, где плевок упал на землю, в красноватом отсвете пламени виднелось черное пятно.

– Да, это шахта Воре... А вот и поселок. Вон там!

И он указал во тьму, где была деревня; ее черепичные крыши путник заметил раньше.

Но вот все шесть вагонеток были опорожнены; старик бесшумно последовал за ними, с трудом передвигая больные, ревматические ноги. Большая гнедая лошадь без понукания тащила вагонетки, тяжело ступая между рельсов; внезапный порыв ветра взьерошил ей гриву.

Теперь шахта Воре стала виднее. Этьен, казалось, забыл, что ему нужно отогреть у жаровни потрескавшиеся до крови руки. Он все вглядывался в каждую деталь шахты: просмоленный сортировочный сарай, башню над спуском в шахту, большое помещение для подъемной машины и четырехугольную башенку, в которой находился водоотливной насос. Эта шахта с приземистыми кирпичными зданиями, осевшая в ложбине, выставившая кверху дымовую трубу, словно грозный рог, казалась ему притаившимся ненасытным зверем, готовым поглотить весь мир. Продолжая все разглядывать, он вспомнил, что вот уже целую неделю в Лилле, ищет работу и живет, как бродяга; припомнилось, как он работал в железнодорожной мастерской, как дал пощечину начальнику, был уволен и как потом его изгоняли отовсюду. В субботу он пришел в Маршьенн, где, по слухам, можно было получить работу на металлургических заводах; но там он не нашел ничего ни на заводах, ни у Сонневилля, и ему пришлось провести воскресенье на лесных складах при экипажной мастерской, прячась за бревнами и досками, сложенными в штабеля; в два часа ночи его выгнал оттуда сторож. Теперь у него не было ничего – ни единого су, ни ломтя хлеба; что он будет делать, бродя по большим дорогам, не зная даже, куда укрыться от холодного ветра? И вот он попал на каменноугольные копи; при свете редких фонарей можно было рассмотреть глыбы добытого угля, а в распахнувшуюся дверь он увидел ярко пылающие топки паровых котлов. Он слышал непрерывное, неустанное пыхтение насоса, могучее и протяжное, словно сдавленное дыхание чудовища.

Рабочий, выгружавший вагонетки, стоял сторбившись и ни разу не взглянул на Этьена, который нагнулся, чтобы поднять свой узелок, упавший на землю. В это время послышался кашель, возвестивший о возвращении возчика. Он медленно выходил из темноты, а за ним – гнедая лошадь, тащившая шесть вновь нагруженных вагонеток.

– Есть в Монсу фабрики? – спросил Этьен.

Старик отхаркнул черным, а затем ответил под свист ветра:

– Фабрик-то здесь предостаточно. Надо было видеть, что тут делалось года три-четыре назад! Трубы дымили, рабочих рук не хватало, люди никогда столько не зарабатывали, как в те времена... А теперь снова пришлось подтянуть животы. Сущая беда: рабочих рассчитывают, мастерские закрываются одна за другой... Император-то, может быть, и не виноват, но зачем он затеял войну в Америке? Не говоря уже о том, что скот и люди гибнут от холеры.

Оба продолжали перебрасываться короткими, отрывистыми фразами. Этьен рассказывал о своих бесплодных скитаниях в течение целой недели: неужели остается только подохнуть с голоду? Скоро и так все дороги будут запружены нищими. Да, говорил старик, все это может, пожалуй, плохо кончиться, – не по-божески столько христиан выкинуто на улицу.

– Теперь не каждый день ешь мясо.

– Был бы хоть хлеб!

– Правда, был бы только хлеб...

Голоса терялись, порывы ветра заглушали их своим унылым воем.

– Смотрите! – громко прокричал возчик, поворачиваясь лицом к югу. – Вон там Монсу...

Протянув руку, он стал называть невидимые во мраке места. Там, в Монсу, сахарный завод Фовелля еще на полном ходу, но вот сахарный завод Готона уже сократил часть рабочих. Остаются только вальцовая мельница Дютийеля да канатная фабрика Блеза, поставляющая канаты для рудников. Лишь они уцелели. Затем он указал широким жестом на север, охватив добрую половину горизонта: машиностроительные мастерские Сонневилля получили еле две трети обычных заказов; из трех доменных печей на металлургическом заводе в Маршьенне одна погашена; наконец – стекольному заводу Гажбуа грозит забастовка – там поговаривают о снижении заработной платы.

– Знаю, знаю, – повторял молодой человек при каждом сообщении. – Я сам только что оттуда.

– У нас-то дело покуда еще идет, – прибавил возчик, – хотя угля стали добывать против прежнего меньше. А посмотрите прямо перед вами, на шахту Победа, – там работают только две коксовые печи.

Он сплюнул, впряг свою осовелую лошадь в пустые вагонетки и опять поплелся за нею.

Теперь Этьен имел полное представление о целой области. По-прежнему кругом лежала мгла, но рука старого рабочего как бы наполнила ее образами великих бедствий, которые молодой человек в эту минуту ясно ощущал повсюду вокруг себя на огромном пространстве. Казалось, над голой равниной вместе с мартовским ветром катился вопль голода. Бешеные порывы ветра словно несли с собою смерть труду. То мчалась нужда, грозящая гибелью множеству людей. И, стараясь блуждающим взором проникнуть во мрак, Этьен терзался желанием и страхом увидеть все воочию. Но окрестность тонула в непроглядной ночной темноте, и только вдали он различал доменные и коксовые печи.

Сооружения со множеством труб, расположенных по диагонали, горели красными языками пламени; левее две башни светились под открытым небом синим огнем, словно исполинские факелы. Все словно было охвачено зловещим заревом; на мрачном небосклоне не было ни звезды – светились только ночные огни в стране угля и железа.

– А вы, случайно, не из Бельгии? – раздался за спиной Этьена голос вернувшегося возчика.

На этот раз он привез только три вагонетки. Можно не спешить с выгрузкой: в клетки подъемной машины сломалась какая-то гайка, и работа приостановлена на целых четверть часа. Внизу наступила тишина, не слышно было грохота выгружаемых вагонеток, от которого сотрясались балки. Из глубины шахты доносились только отдаленные удары молота о железный лист.

– Нет, я с юга, – ответил молодой человек.

Рабочий, разгрузив вагонетки, присел на землю, очевидно, довольный перерывом. Он продолжал угрюмо молчать и только поднял большие тусклые глаза на возчика, как бы изумляясь такой словоохотливости. Правда, возчик говорил обычно очень мало. Но ему понравилось лицо незнакомца, и у него развязался язык, как это бывает у стариков; тогда они громко разговаривают даже наедине с собою.

– А я, – промолвил он, – из Монсу, зовут меня Бессмертный.

– Это ваше прозвище? – спросил удивленный Этьен.

Старик усмехнулся с довольным видом.

– Да-да... – сказал он, указывая на Воре. – Меня трижды вытаскивали оттуда, изодранного в клочья: сначала у меня вся кожа была обожжена, другой раз меня по горло засыпало землей, а в третий раз я так наглотался воды, что у меня брюхо раздулось, как у лягушки... Тогда-то, видя, что я все не спешу подыхать, меня и прозвали Бессмертным.

Он еще больше развеселился, но смех его походил на скрип несмазанного колеса и кончился страшным приступом кашля. Жаровня ярко освещала его большую голову с редкими седыми волосами и бледное плоское лицо, покрытое синеватыми пятнами. Он был небольшого роста, с крепкой шеей, с вывороченными икрами и пятками; длинные руки с толстыми короткими пальцами доходили до колен. Как и лошадь, неподвижно стоявшая, несмотря на ветер, на месте, он казался каменным; словно нипочем ему были и холод, и вихрь. Кашель раздирает ему горло и надрывал грудь. Когда приступ кончился, он сплюнул, и на земле, возле жаровни, снова показалось темное пятно. Этьен взглянул сначала на старика, потом на пятно.

– Давно вы работаете в копах? – спросил он.

Бессмертный широко развел руками.

– Давно, ой давно!.. Мне не минуло и восьми лет, когда я спустился в шахту, как раз здесь, в Воре, а теперь мне пятьдесят восемь. Посчитайте-ка... Сперва я был там подручным у забойщика, потом, когда вошел в силу и смог возить вагонетки, меня сделали откатчиком, а потом я восемнадцать лет проработал забойщиком. Затем, из-за проклятых ног, меня оттуда перевели, и я стал ремонтным рабочим, делал насыпи и крепил галереи; и так до тех пор, покуда не пришлось убрать меня из-под земли: доктор сказал им, что иначе я там и останусь. И вот пять лет тому назад поставили меня возчиком... Ну, что скажете? Недурно, а? Пятьдесят лет в шахтах, да из них сорок пять под землей.

Пока он говорил, куски раскаленного угля, вываливавшиеся порою из жаровни, озаряли красноватым отсветом его бледное лицо.

– Они все твердят, чтобы я отдохнул, – продолжал старик, – но я-то не хочу: я ведь не так глуп, как они себе думают!.. Продержусь еще годика два, до шестидесяти лет, и буду получать пенсию в сто восемьдесят франков. А если я с ними теперь распрощаюсь, то они пенсию мне дадут всего в сто пятьдесят франков. Хитрый народец! К тому же я еще крепкий, вот только ноги подводят... Это, видите ли, оттого, что слишком много воды набралось у меня под кожей: там, под землей, вас все время поливает. Бывают дни, когда я без крика клешней пошевелить не могу...

Приступ кашля опять прервал его.

– От этого-то вы так и кашляете? – спросил Этьен.

Бессмертный отрицательно замотал головой. Отдышавшись, он сказал:

– Нет-нет, это я простудился в прошлом месяце. Раньше этого не было и в помине, а вот теперь никак не могу откашляться. И то сказать – харкаю и харкаю без конца.

Мокрота снова подступила ему к горлу, и он опять сплюнул черный сгусток.

– Это кровь? – решил спросить Этьен.

Старик не спеша вытер рот тыльной стороной руки.

– Это уголь... У меня внутри его столько, что он будет согревать до самой смерти. Вот уж пять лет я не спускался под землю; но в груди у меня, должно быть, накопился целый склад, о котором я и не подозревал. Хе, хоть это поддерживает...

Наступило молчание; издали из шахты доносился равномерный стук молота; ветер проносился над равниной, словно усталый вопль голода из недр ночи. Освещенный трепетным пламенем, старик продолжал, понизив голос; он вспоминал. Да, и он, и его семейство не со вчерашнего дня работают в каменноугольных коях компании Монсу, а с самого их основания; а было это давно, очень давно, – тому уже сто с лишком лет. Дед его, Гийом Маэ, тогда еще пятнадцатилетний мальчишка, обнаружил каменный уголь в Рекийяре, первую – заброшенную теперь – шахту компании, что возле сахарного завода Фовелля. Все знали это, и открытая дедом шахта в честь него была названа «шахтой Гийома». Сам он деда не помнит, но ему рассказывали про него: он был большого роста, очень сильный и умер шестидесяти лет. Потом работал отец, Никола Маэ, по прозвищу Рыжий; он остался в Воре, да тут и погиб, всего сорока лет от роду. В Воре в то время копали, случился обвал, земля вдруг осела; она выжала из отца всю кровь, а кости были раздроблены камнями. Затем двое его дядьев и три брата тоже сложили там головы, – только это уже позднее. Сам он, Венсан Маэ, выбрался почти целехонек – ноги не в счет; оттого-то и слывет ловкачом. Что поделаешь? Работать-то нужно. У них в семье это переходит от отца к сыну, как и всякое ремесло. Теперь внизу работает его сын, Туссен Маэ, да и его внуки, все члены семьи, которые живут в поселке напротив. Одно поколение за другим, сыновья за отцами, – так они и работают сто шесть лет на одного и того же хозяина! Каково?

Немногие буржуа могли бы рассказать так обстоятельно свою родословную!

– Хорошо, кабы еще при этом всегда было что есть, – сказал Этьен.

– Вот и я говорю: коли хлеб есть – жить можно.

Бессмертный умолк, устремив взгляд в сторону поселка, где в домах начинали загораться огоньки. На колокольне в Монсу пробило четыре часа; стало еще холоднее.

– А богатая у вас компания? – спросил Этьен.

Старик вздернул плечами, потом поник, как бы под тяжестью золотого мешка.

– Ну, конечно!.. Она, может быть, и не так богата, как соседняя компания в Анзене, но миллионов тут, во всяком случае, немало. И не сосчитать... Девятнадцать шахт, из них тринадцать разрабатываются: Воре, Победа, Кручина, Миру, Сен-Томас, Мадлена, Фетри-Кактель и другие, затем еще шесть, уже отработанных или открытых для вентиляции, как Рекийяр... Десять тысяч рабочих, концессии в шестидесяти семи коммунах, добыча по пять тысяч тонн в сутки, железная дорога между всеми шахтами, мастерские, фабрики!.. Эх! Денежки у них есть!

Услыхав грохот вагонеток по мосткам, гнедая лошадь насторожила уши. Клеть подъемной машины исправили, и приемщики снова взялись за работу. Перепрягая лошадь, чтобы двинуться обратно, возчик ласково промолвил к ней:

– Нечего слушать болтовню, ленивая дрянь! Что если бы господин Энбо узнал, как ты транжиришь время?

Этьен задумчиво смотрел в темноту.

– Стало быть, шахта эта принадлежит господину Энбо? – спросил он.

– Нет, господин Энбо – всего только главный директор, – пояснил старик. – Ему платят, как и нам.

Указывая вдаль, молодой человек спросил:

– Кому же принадлежит все это?

Но Бессмертный некоторое время не мог ответить: его снова душил приступ кашля, такой сильный, что он еле отдышался. Наконец он сплюнул и обтер с губ черную пену. Ветер усиливался.

– Гм!.. Кому принадлежит все это? Никто не знает. Господам.

И он протянул руку, как бы указывая во мраке на далекое невидимое место, где живут те, на кого более ста лет трудились поколения Маэ. Казалось, в голосе его звучал религиозный трепет, словно он говорил о недоступном святилище, где таилось тучное и ненасытное божество; все они приносили ему в жертву свою силу, но никогда не видали его.

– Если бы хоть хлеба было вволю... – в который раз проговорил Этьен без видимой связи.

– Ну да, черт возьми! Если хлеба вволю – все ладно!

Лошадь тронулась; за ней ушел и возчик, тяжело ступая больными ногами. Рабочий, оставшийся на месте, и не пошевелился; он сидел съежившись, уткнувшись подбородком в колени, устремив в пустоту большие тусклые глаза.

Подняв с земли свой узелок, Этьен все не уходил. Порывы ветра леденили ему спину, а грудь припекало огнем. Может быть, все-таки спросить, нет ли работы на копях? Старик мог и не знать; теперь он сам поразмыслил и готов был взяться за любую работу. Куда ему идти и что делать в этом краю, изголодавшемся от безработицы? Издохнуть под забором, как бездомному псу? Но он колебался, его страшила эта шахта Воре среди голой равнины, тонувшей во мраке ночи. Ветер крепчал с каждым порывом; казалось, он несясь с безграничных просторов. Ни проблеска зари в темном небе; одни доменные и коксовые печи пылали во мраке кровавым заревом, ничего не освещая. А Воре по-прежнему лежало, распластанное в глубине, словно злой хищный зверь, залегший в норе, и дышало все протяжнее, глубже, упорно переваривая человеческую плоть.

II

Среди полей, засеянных хлебом и свеклой, спал под покровом черной ночи поселок Двухсот Сорока. Едва можно было различить четыре огромных квартала, груды домишек, которые напоминали своими прямолинейными очертаниями казарменные или больничные корпуса. Расположены они были параллельными рядами, а между ними проходили три широкие улицы, разделенные на одинаковые участки с садами. На пустынной равнине лишь завывал ветер да хлопала по заборам сорванные решетки.

У Маэ, в шестнадцатом номере второго квартала, стояла тишина. В единственной комнате верхнего этажа было совершенно темно, и тьма эта как бы давила на спящих своей тяжестью; все спали вместе, с открытыми ртами, изнуренные усталостью. Несмотря на стужу на дворе, в комнате было душно и жарко, – такой тяжелый воздух, насыщенный животным теплом и людским запахом, присущ комнатам, где спит много народа, как бы чисто их ни содержали.

В комнате нижнего этажа часы с кукушкой пробили четыре, но никто не пошевелился; слышалось тяжелое дыхание с присвистом, сопровождаемое звучным храпом. Катрина внезапно поднялась и, как обычно, услышав снизу бой часов, насчитала четыре; однако она была до того утомлена, что не могла заставить себя проснуться окончательно. Затем, высвободив ноги из-под одеяла, нащупала спички, зажгла свечу, но все не вставала; в голове она ощущала такую тяжесть, что снова прилегла, повинувшись неодолимой потребности.

Свеча разгорелась и осветила квадратную комнату в два окна, в которой стояли три кровати. Там были еще шкаф, стол, два старых ореховых стула, резко выделявшиеся темными пятнами на фоне светло-желтых стен. На гвозде висело платье, на полу стояли кувшин и красная миска вместо умывального таза – больше ничего. На левой кровати спал старший сын Захария, парень двадцати одного года; рядом с ним лежал его одиннадцатилетний брат Жанлен; на правой кровати спали обнявшись двое меньших – Ленора и Анри, первая шести, второй четырех лет, на третьей кровати – Катрина вместе с сестрой Альзирой, девятилетней чахлой девочкой, которой она бы и не ощущала возле себя, если бы горб маленькой калеки не давил ее в бок. Стеклопанная дверь была открыта. Виднелись лестница и узкий коридор, где стояла четвертая

кровать; на ней спали отец и мать, и тут же была пристроена люлька новорожденной дочери Эстеллы, которой только что исполнилось три месяца.

Катрина мучительно силилась стряхнуть дремоту. Она потягивалась и теребила обеими руками свои рыжие волосы, растрепавшиеся на лбу и на затылке. Девушка казалась очень хрупкой для своих пятнадцати лет; из-под узкой сорочки виднелись только ноги, посиневшие и как бы татуированные углем, и нежные руки, молочная белизна которых резко отличалась от мертвенно-бледного лица, уже успевшего увянуть от постоянного умывания черным мылом. Она зевнула в последний раз – рот с великолепными зубами и бледными, бескровными деснами был у нее чуть-чуть велик, – слезы проступили на серых невыспавшихся глазах, измученных и скорбных, и все ее обнаженное тело, казалось, было полно усталости.

С лестницы послышалось ворчание; сердитый голос Маэ пробормотал:

– Черт возьми! Самая пора... Это ты засветила, Катрина?

– Да, отец... Внизу только что пробило.

– Попроворнее, бездельница! Кабы ты вчера поменьше плясала, то и разбудила бы нас пораньше... Лентяи!

Он продолжал браниться; но сон опять одолел его, ворчание прекратилось, и снова послышался храп.

Девушка стала босыми ногами на пол и, как была, в одной сорочке, принялась расхаживать по комнате. Проходя мимо кровати Анри и Леноры, она накинута на них соскользнувшее одеяло; они крепко спали, как спят в детстве, и не пошевелились. Альзира, с открытыми глазами, не говоря ни слова, перелегла на теплое место старшей сестры.

– Эй, Захария! И ты, Жанлен! – повторяла Катрина перед кроватью братьев; они лежали лицом вниз, уткнувшись в подушку.

Ей пришлось схватить старшего брата за плечо и потрясти его, – тот начал ругаться; тогда она стянула с них одеяло. Это развеселило ее, и она засмеялась, глядя, как мальчики отбивались голыми ногами.

– Оставь глупости! – недовольно ворчал Захария, садясь на постели. – Не люблю я таких проделок... Господи, как вставать не хочется...

Тощий, неуклюжий, с длинным лицом и реденькой бородкой, с белесыми волосами, он казался малокровным, как и вся семья. Рубашка задралась у него до живота, и он ее одернул, но не от стыдливости, а потому что продрог.

– Внизу уже пробило четыре, – повторила Катрина. – Живей, ну! Отец сердится...

Жанлен, свернувшийся клубком, опять закрыл глаза:

– Отстань, я сплю!

Девушка звонко расхохоталась. Жанлен был такой маленький, его тонкие руки и ноги распухли в суставах от золотухи. Катрина легко подняла его на руки; мальчик стал бить ее ногами, и его бесцветное обезьянье лицо, обрамленное шапкой курчавых волос, с зелеными глазами и большими ушами побледнело от злости; его сердило, что он такой хилый. Он изловчился и укусил сестру в грудь.

– Злюка! – проговорила она рассерженно и опустила его на пол.

Альзира тоже проснулась, но лежала молча, натянув одеяло до подбородка, и больше не засыпала. Она следила умными глазами за сестрой и обоими братьями, которые стали одеваться. Теперь ссора вспыхнула возле умывальной миски; братья толкали и отгоняли сестру – та слишком долго мылась. Скинув рубашки, еще не вполне проснувшись, они отправляли свои надобности, нисколько не стыдясь, непринужденно и спокойно, как щенята, выросшие вместе. Катрина собралась первой. Она надела штаны углекопа, холщовую блузу, синий чепец на голову; в рабочей одежде она казалась мальчиком-подростком, только легкое покачивание бедрами выдавало ее пол.

– Когда старик вернется, – злобно проговорил Захария, – постель совсем остынет; то-то он будет ворчать... А я ему скажу, что это ты ее выстудила.

«Старик» – то есть дед Бессмертный. Ночью он работал, а днем спал, так что постель никогда не остывала: на ней всегда кто-нибудь храпел.

Катрина, не отвечая, подняла одеяло и прибрала постель. За стеною послышался шум из соседнего дома. В этих кирпичных домиках, построенных компанией с соблюдением величайшей экономии, стены были так тонки, что сквозь них проникал малейший шум. Люди во всем поселке теснились бок о бок; ничто из домашней жизни не могло быть скрыто, даже от детей. По лестнице раздались тяжелые шаги, потом послышалось падение чего-то мягкого и затем – вздох наслаждения.

– Недурно! – сказала Катрина. – Левак вышел, а к его жене заявился Бутлу.

Жанлен захихикал, даже у Альзиры заблестели глаза. Они каждое утро потешались над этим соседским супружеством втроем: у забойщика жил на квартире ремонтный рабочий, и у женщины оказалось два мужа – один ночной, другой дневной.

– Филомена кашляет, – заметила Катрина.

Она говорила о старшей дочери Левака – девятнадцатилетней девушке, любовнице Захарии, которая уже прижила от него двоих детей; она была слабогруда и состояла сортировщицей, так как не могла работать под землей.

– Пустяки! – возразил Захария. – Филомена и знать ничего не хочет, спит себе!.. Свинство – спать до шести часов!

Он надел штаны, потом отворил окно, словно что-то задумав. Поселок просыпался, в прорезах ставней замелькали огни. Брат и сестра снова заспорили: Захария высунулся, чтобы подстеречь, не выйдет ли из дома Пьерронов, что напротив, старший надзиратель. Говорили – он живет с женою Пьеррона; Катрина же уверяла, что Пьеррон накануне заступил на очередное дневное дежурство по загрузке, и Дансарт поэтому никак не мог сегодня там ночевать. В комнату проникал холодный воздух, но брат и сестра были слишком увлечены спором: они этого даже не почувствовали, каждый отстаивал правильность своих догадок. Но вдруг раздались крики и плач: Эстелла озябла в своей люльке.

Маэ сразу проснулся. Почему он так обессилел? Вот, опять заснул, как настоящий бездельник... И он стал так браниться, что дети притихли. Захария и Жанлен закончили умыться и как бы утихомирились. Альзира все лежала с широко раскрытыми глазами. Двое младших – Ленора и Анри, – обняв друг друга, не пошевелились и спали по-прежнему, несмотря на шум, тихо дыша во сне.

– Катрина, подай свечу! – крикнул Маэ.

Она застегнула блузу и понесла свечу в лестничный проход. Братья продолжали разыскивать свою одежду при скудном свете, проникавшем в дверь. Отец вскочил с постели. Не оставиваясь, Катрина спустилась ощупью по лестнице, как была, в грубых шерстяных чулках, и в нижней комнате зажгла другую свечу, чтобы сварить кофе. Вся обувь стояла под буфетом.

– Замолчи, гаденыш! – вспыхнул Маэ, выведенный из себя криками Эстеллы, которая все не унималась.

Он был приземистый, как и старик Бессмертный, с крупной головой, с плоским бледным лицом; белесые волосы были коротко острижены. Ребенок, перепугавшись, заорал еще громче, когда отец принялся размахивать над ним своими огромными жилистыми руками.

– Оставь ее, ведь знаешь, что она не уймется, – проговорила жена Маэ, потягиваясь в постели.

Она тоже только что проснулась и досадовала, что ей никогда не дают как следует выспаться. Неужели они не могут тихо уйти! Она лежала, закутавшись в одеяло так, что видно было только ее длинное лицо с крупными чертами, сохранившее следы грубой красоты; к тридцати девяти годам она уже поблекла от вечной нужды и семерых детей: Глядя в потолок, она

медленно заговорила; муж тем временем одевался. Ни он, ни она не обращали больше внимания на ребенка, надрывавшегося от крика.

– Знаешь, я сижу без гроша, а сегодня только еще понедельник: до получки шесть дней... Как дальше быть? Вы все вместе приносите девять франков. Как мне на них обернуться? В доме ведь десять ртов.

– Ох уж и девять франков! – воскликнул Маэ. – Я да Захария получаем по три франка – всего шесть... Катрина и отец по два – вот еще четыре; четыре да шесть – десять... Да еще Жанлен получает франк: вот тебе одиннадцать.

– Одиннадцать-то одиннадцать, а праздников и прогулов ты не считаешь? Говорю тебе: больше девяти никогда не получается!

Маэ не отвечал, ища на полу свой кожаный пояс. Затем, разгибаясь, промолвил:

– Нечего жаловаться, я еще здоров. А сколько в сорок два года на ремонтную работу переходят!

– Может быть, может быть, старина, но от этого на хлеб у нас не прибавляется. Что же мне делать, скажи на милость? У тебя-то ничего нет?

– Два су есть.

– Ну и оставь себе, выпьешь кружку пива... Господи! А мне что делать? Шесть дней еще – конца не видать. Мы в лавке у Мегра шестьдесят франков задолжали. Он меня позавчера за дверь выставил, а я все-таки к нему опять пойду. Но если он упрется и откажет...

И она продолжала унылым голосом, не поворачивая головы, жмурясь порою от скудного света свечи. Она говорила о том, что в доме ничего нет, а дети просят хлеба; даже кофе не хватает, от воды делается резь в животе; и сколько еще придется им есть вареную капусту, обманывая голодный желудок. Она говорила все громче, так как рев Эстеллы заглушал слова. Этот истошный крик становился невыносимым. Маэ, казалось, только теперь услышал его, вне себя выхватил ребенка из люльки и бросил его на кровать к матери, яростно бормоча:

– На тебе, а то я ее пристукну!.. Ну и ребенок, прости Господи! Ей-то ни в чем недостатка нет, сосет себе грудь, а орет громче всех!

В самом деле, Эстелла тотчас принялась сосать. Закутанная в одеяло, успокоенная теплом постели, она только почмокивала губами.

– Разве господа из Пиолены тебе не говорили, чтобы ты к ним пришла? – спросил он, помолчав.

Жена с сомнением уныло сжала губы.

– Да, я их встретила, они носили одежду бедным детям... И правда, сведу-ка я к ним сегодня Ленору и Анри. Хоть бы сто су дали!

Опять наступило молчание. Маэ уже собрался. С минуту он постоял, потом глухо промолвил:

– Что поделаешь? Уж как есть... Постарайся сварить хоть супу... Словами делу не поможешь, лучше уж мне идти на работу.

– И то верно, – ответила она. – Задуй свечу: нечего даром жечь.

Он погасил свечу. Захария и Жанлен уже спускались по лестнице; отец пошел за ними; деревянная лестница скрипела под их тяжелыми ногами, обутыми в одни шерстяные чулки. Лестничный проход и комната снова погрузились во мрак. Дети спали, даже Альзира смежила веки. Только мать лежала в темноте с открытыми глазами. Эстелла жадно сосала ее отвислую грудь, мурлыча, как котенок.

Внизу Катрина прежде всего позаботилась разжечь огонь; в камине с чугунной решеткой посредине и с двумя печными трубами по бокам постоянно горел каменный уголь. Компания выдавала на каждую семью по восемьсот литров угля в месяц. Но это был твердый уголь, подобранный в штольнях, – он с трудом разгорался, и поэтому девушка прикрывала огонь по

вечерам, чтобы утром оставалось только разгрести жар и подбросить несколько мелких кусков отборного угля. Поставив на решетку котелок, она присела на корточки перед буфетом.

Весь нижний этаж занимала довольно большая комната. Стены ее были выкрашены зеленой краской, пол, выстланный плитам, вымыт и посыпан белым песком. Здесь царила фламандская чистота. Мебель, кроме полированного соснового буфета, состояла из такого же стола и стульев. На стенах были наклеены яркие лубочные картинки: портреты императора и императрицы, раздававшиеся компанией, солдаты и изображения святых с позолотой. Все это резко выделялось на фоне светлых голых стен. Кроме розовой картонной коробки на буфете и настенных часов с грубо размалеванным циферблатом не было больше никаких украшений; громкое тиканье гулко раздавалось под потолком. Возле двери на лестницу была еще одна дверь, которая вела в погреб. Несмотря на чистоту, в комнате со вчерашнего дня стоял запах жареного лука; в спертом, тяжелом воздухе постоянно ощущалась едкость каменного угля.

Сидя на корточках у раскрытого буфета, Катрина раздумывала: оставалась только краюха хлеба, правда, еще достаточно сыра, но капля масла; между тем надо было приготовить бутерброды на четверых. Наконец она решила: нарезала хлеб ломтиками, положила на один сыр, мазнула другой маслом и сложила их вместе, – это было «огниво», – двойная тартинка, которую рабочие брали ежедневно в шахты. Вскоре четыре таких бутерброда были разложены на столе; размеры их были строго определены: самый большой – для отца, самый маленький – для Жанлена.

Катрина, казалось, с головою ушла в хозяйственные заботы; и все же она продолжала думать о том, что рассказывал Захария про старшего надзирателя и про жену Пьеррона; приотворив входную дверь, она выглянула наружу. Ветер бушевал по-прежнему, в низких домиках поселка светилось уже много окон, слышался глухой предутренний шум. Отворялись двери; темные вереницы рабочих удалялись во мраке ночи. Как глупо морозить себя: нагрузчик, конечно, преспокойно спит и пойдет на работу к шести часам! И все-таки девушка продолжала стоять, глядя на дом по ту сторону сада. Дверь отворилась, и любопытство Катрины разгорелось еще больше. Нет, это Лидия, младшая дочь Пьеррона, уходила на работу.

Шипение пара заставило Катрину обернуться. Она захлопнула дверь и побежала бегом: вода вскипела и залила огонь. Кофе больше не было, пришлось развести вчерашнюю гущу; она подсыпала в кофейник сахарного песка. Отец и оба брата сошли вниз.

– Тьфу, черт! – ругнулся Захария, хлебнув из своей кружки. – От такого пойла не повеселеешь!

Маэ покорно пожал плечами:

– Что ж! Горячо – и ладно.

Жанлен подобрал крошки хлеба и ссыпал их в чашку. Кончив пить, Катрина разлила остаток из кофейника по жестяным фляжкам. Все четверо поспешно глотали кофе стоя, при слабом свете нагоревшей свечи.

– Скоро ли, наконец? – воскликнул отец. – Можно подумать, что тут все богачи.

Сверху послышался голос – дверь на лестницу осталась открытой, – это кричала мать:

– Забирайте весь хлеб, у меня есть для детей немного вермишели.

– Да, да! – ответила Катрина.

Она прикрыла огонь и поставила на угол решетки котелок с остатками супа, чтобы дед, вернувшись в шесть часов, нашел его теплым. Каждый достал из-под буфета свою пару деревянной обуви, перекинул через плечо фляжку на веревке и засунул, между рубашкой и блузой свой ломоть хлеба. Затем вышли – мужчины впереди, девушка за ними; уходя, она погасила свечу и повернула ключ в замке. Дом опять погрузился во тьму.

– Эй, вы! Пойдемте-ка вместе, – проговорил человек, запиравший дверь соседнего дома.

Это был Левак со своим двенадцатилетним сыном Бебером, большим приятелем Жанлена. Катрина удивилась и чуть не прыснула со смеху.

– Что такое? – шепнула она Захарии на ухо. – Бутлу даже не дождался, пока муж уйдет!

Теперь огни в поселке начали гаснуть. Захлопнулась последняя дверь; все снова погрузилось в сон; женщины и дети досыпали, разлегшись на освободившихся кроватях. По дороге от затихшего поселка к тяжело пытящему Воре тянулась под налетающим ветром медленная вереница теней: это шли на работу, толкая друг друга, углекопы; они не знали, куда девать руки, и скрещивали их на груди; за спиною у каждого топорщился горб от запрятанного ломтя хлеба. Одетые в блузы из тонкого холста, они дрожали от холода, но не торопились; толпа в беспорядке двигалась по дороге, топоча, словно стадо.

III

Этьен наконец спустился с холма и направился в Воре. Люди, которых он спрашивал насчет работы, качали головой и советовали ему дожждаться главного штейгера. Этьена никто не останавливал, и он расхаживал среди слабо освещенных строений со множеством черных пролетов; расположение этих многоярусных зданий было очень запутанное. Взявшись за темной полуразрушенной лестнице и перейдя шаткий мостик, он очутился в сортировочной; здесь был полный мрак, и Этьен пошел, вытянув руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Внезапно перед ним во тьме вспыхнули два огромных желтых глаза. Он был в башне, в приемочной, у самого спуска в шахту.

Один из штейгеров, дядюшка Ришомм, толстяк с седыми торчащими усами, похожий на жандарма, вошел в эту минуту и направился в приемочную контору.

– Не требуется ли здесь рабочий, все равно на какую работу? – спросил Этьен.

Ришомм собирался уже сказать «нет», но раздумал и, проходя дальше, ответил, как и другие:

– Дождитесь главного штейгера, господина Дансарта.

Горели четыре фонаря с рефлекторами; весь свет был сосредоточен на входе в шахту; виднелись ярко освещенные железные перила, ручки сигнальных аппаратов и тормозов, толстые доски, между которыми скользили две клетки подъемной машины. Вся остальная часть громадного помещения, похожего на внутренность церкви, тонула в полумраке, и там двигались большие тени. Светло было только в ламповом отделении в глубине, а в приемочной конторе горела, словно меркнущая звезда, лишь небольшая лампа. Доставка угля снизу только что началась. По чугунным плитам с сильным грохотом непрерывно катились вагонетки с углем; за ними шли откатчики, и можно было различить их длинные согнутые спины; кругом в общем гуле все эти черные грохочущие предметы и фигуры двигались безостановочно.

Этьен с минуту стоял неподвижно; его оглушило и ослепило. Он совсем закоченел, так как отовсюду проникали струи холодного воздуха. Затем он сделал несколько шагов: внимание его привлекла машина, сверкавшая стальными и медными частями. Она находилась в более высоком помещении, в двадцати пяти метрах от спуска в шахту, и работала на всех парах, развив всю свою мощь в четыреста лошадиных сил, плавно вздымая и опуская огромный шатун; она была так прочно установлена на кирпичном фундаменте, что не ощущалось ни малейшего дрожания стен. Машинист, держась за рычаг регулятора, прислушивался к сигнальным звонкам, не спуская глаз с указательной таблицы, на которой были изображены различные этажи шахты; по вертикальным желобкам, пересекавшим таблицу, поднимались и опускались гирьки на шнурках, представлявшие клетки подъемной машины. При отправлении, как только машину пускали в ход, начинали вращаться два громадных барабана, в пять метров радиусом каждый; колеса их наматывали и разматывали в противоположном направлении два стальных каната; они вращались с такой быстротой, что казались столбом серой пыли.

– Эй, берегись! – крикнули трое откатчиков, тащивших громадную лестницу.

Этьена чуть не раздавили. Глаза его освоились с темнотой, и он смотрел, как в воздухе скользили стальной лентой канаты, более тридцати метров длины; они взвивались в высоту башни, перекидывались через шкивы, а затем отвесно опускались в шахту с прицепленными к ним клетями подъемной машины. Шкивы были укреплены на железных стропилах, подобных стропилам на колокольне. Канаты скользили бесшумно и плавно, как птица в полете; это было стремительное движение, безостановочный подъем и спуск огромной толстой проволоки, которая могла поднять со скоростью десяти метров в секунду груз до двенадцати тысяч килограммов.

– Эй, ты там, берегись! – снова закричали откатчики; они устанавливали лестницу с другой стороны, чтобы проверить левый шкив.

Этьен медленно вернулся в приемную. Он был ошеломлен этим мощным полетом над его головою. Дрожа от сквозного ветра, он стал смотреть, как двигались клетки подъемной машины; в ушах у него звенело от грохота вагонеток. У самого спуска в шахту действовал сигнальный аппарат – тяжелый молот с рычагом; когда снизу дергали за веревку, он ударял в било. Один удар означал остановку, два удара – спуск, три удара – подъем; эти тяжелые удары непрерывно раздавались посреди общего гула; вслед за ними сейчас же слышался звонкий колокольчик. Приемщик, управлявший движением подъемной машины, еще увеличивал шум, выкрикивая в рупор приказания машинисту. В этой суматохе появлялись и опускались клетки, их опораживали, и они снова поднимались нагруженными. Этьену трудно было разобраться в этой сложной работе.

Он понимал только одно: пасть шахты непрерывно поглощала от двадцати до тридцати человек разом, притом с такой легкостью, что это, казалось, проходило совершенно незаметно. Спуск рабочих начался с четырех часов. Они приходили из барака босиком с лампочками в руках и стояли небольшими группами, ожидая, пока не наберется достаточное количество людей. Бесшумно, мягким крадущимся движением ночного хищного зверя, из темноты всплывала железная клеть и, затормозив ход, останавливалась. В каждом из четырех ярусов клетки стояло по две вагонетки, наполненных углем. Откатчики вытаскивали их по особым мосткам и заменяли другими, порожними или с заранее нагруженными досками. В пустые вагонетки становились рабочие, по пять человек в каждую; порою спускали сорок человек сразу, если они занимали все свободные вагонетки. Раздавалось глухое и невнятное мычание – это выкрикивался в рупор приказ; четыре раза дергали сигнальную веревку, ведущую вниз, – это называлось «говядина едет» – предупреждение о человеческом грузе. Клеть, слегка дрогнув, бесшумно погружалась, падала, как камень, не оставляя за собою ничего, кроме бегущего вниз дрожащего каната.

– Глубоко? – спросил Этьен у одного шахтера, который стоял возле него и с сонным видом ждал своей очереди.

– Пятьсот пятьдесят четыре метра, – ответил тот. – Но там проходят четыре яруса один над другим, первый на глубине трехсот двадцати метров.

Оба замолчали, глядя на поднимающийся канат.

– А если он оборвется? – спросил Этьен.

– Ну, ежели оборвется...

Шахтер закончил фразу жестом. Пришла его очередь; клеть опять поднялась легко и плавно. Он влез в нее вместе с другими товарищами; клеть погрузилась, и не прошло четырех минут, как она появилась снова, чтобы поглотить другую партию людей. В течение получаса шахта таким образом проглатывала людей то быстрее, то медленнее, смотря по глубине яруса, куда они опускались, но безостановочно и алчно, как бы набивая свои исполинские кишки, способные переварить целые толпы. Клеть все наполнялась и наполнялась, а мрак оставался по-прежнему беспросветным, и она поднималась из бездны все так же беззвучно и жадно.

Время шло, и Этьеном овладела прежняя тревога, которую он уже испытал там, на откосе. Чего добиваться? Старший штейгер ответит ему то же, что и другие. Безотчетный страх заставил его внезапно повернуться и уйти; он остановился только перед котельной. Дверь ее была широко распахнута, и Этьен увидел семь котлов с двумя топками. Утопая в клубах белого пара, вырывавшегося со свистом из щелей, кочегар подкладывал уголь в одну из топок; жар доходил до самого порога. Обрадовавшись, что можно погреться, Этьен хотел подойти ближе, но в это время заметил новую партию углекопов, направлявшихся в шахту. Это было семейство Маэ и Леваки, отец с сыном. Когда Этьен увидел Катрину, которая шла впереди и показалась ему приветливым мальчиком, у него явилась суеверная мысль – попытаться спросить в последний раз.

– Скажите, товарищ, не требуется ли тут где-нибудь рабочий, на любую работу?

Катрина с удивлением поглядела на него, немного испуганная голосом, который так внезапно раздался из темноты. Но Маэ, шедший за нею, тоже слышал; он приостановился и ответил Этьену. Нет, тут никого не требуется. Бедняга-безработный, переходящий с места на место в поисках работы, отвлек его. Маэ вздохнул, повернувшись к другим:

– Да, это со всяким может случиться... Что толку жаловаться: тут кругом без работы ходят, хоть подохни...

Рабочие направились в барак. Это было обширное, грубо оштукатуренное помещение. По стенам стояли шкафы, запертые на всяческие замки; в середине – железная жаровня, нечто вроде печки без заслонки, раскаленная докрасна; она была доверху набита углем, так что куски его с треском вываливались на земляной пол. Барак освещался только этой жаровней; кровавые отсветы дрожали на замусоленном дереве шкафов и на стенах вплоть до самого потолка, покрытого черной пылью.

Когда семья Маэ вошла в жаркий барак, там раздавался громкий хохот. Человек тридцать рабочих стояли и грелись с довольным видом, повернувшись спиной к огню. Перед спуском все заходили сюда погреться, набраться как следует тепла, чтобы бодрее приступить к работе в сырой шахте. В то утро в бараке царило веселье. Рабочие подтрунивали над восемнадцатилетней откатчицей Мукеттой: у этой девушки были такие огромные груди и зад, что ее блуза и штаны, казалось, вот-вот треснут. Она жила в Рекийяре с отцом – старым конюхом Муком и братом Муке – откатчиком; но часы работы у них не совпадали, и потому она отправлялась в шахту одна. Обычно летом – забравшись в рожь, а зимою – у какой-нибудь ограды она забавлялась без особых последствий со своим очередным дружкой, которые менялись каждую неделю. У нее перебивали все шахтеры; это была настоящая дружеская «круговая чаша». Однажды ее упрекнули в том, что она гуляла с кузнецом из маршьеннской гвоздарни. Мукетта была вне себя от гнева и кричала, что до этого она не опустится; она готова дать руку на отсечение, что никто никогда не видал ее ни с кем, кроме углекопов.

– Так ты уж больше не с долговязым Шавалем? – спросил ее подсмеиваясь один из шахтеров. – Того карапуза подцепила? Да ведь ему лестницу подставлять надо. Я вас обоих за Рекийяром видел; он на камень влезал!

– Ну и что дальше? – добродушно отвечала Мукетта. – Тебе какое дело? Тебя ведь не звали, чтобы ты его подсаживал.

Эти грубоватые, незлобивые шутки вызывали у рабочих, вдоволь пожарившихся у огня, новые взрывы смеха, от которого тряслись их плечи. Мукетта сама хохотала, расхаживая среди них с забавно смущенным видом в своей тесной одежде, обтягивавшей ее округлое, чересчур полное тело.

Но веселье кончилось, как только Мукетта сообщила Маэ, что Флеранса – долговязая Флеранса – больше не придет: накануне ее нашли мертвой в постели; одни говорят – от разрыва сердца, другие – от литра можжевелевой водки, которую она выпила за раз. Маэ был в отчаянии: опять незадача – он лишился одной из своих откатчиц и не мог в одночасье ее заме-

нить. Он работал в артели с четырьмя забойщиками: он, Захария, Левак и Шаваль. Если у них останется откатчицей лишь Катрина – работа пострадает. Вдруг он вспомнил:

– Постойте-ка! А тот парень, что искал работу?

Мимо барака проходил Дансарт. Маэ сообщил ему о случившемся и попросил разрешения нанять этого человека; он особенно упирал на то, что компания сама склонна заменять откатчиц мужчинами, как в Анзене. Главный штейгер сперва подмигнул: отстранение женщин от работы в шахтах вызывало отпор у самих же углекопов: они стремились пристроить к работе своих дочерей; вопросы морали и гигиены мало их занимали.

Наконец после некоторого колебания Дансарт согласился, с тем, однако, что окончательное разрешение даст инженер Негрель.

– Что толку! – проговорил Захария. – Уж он, верно, далеко, раз нигде не мог найти работы!

– Нет, – возразила Катрина, – я только что видела, как он остановился у котельной.

– Так сбегай же за ним, бездельница! – крикнул Маэ.

Девушка бросилась бежать. Поток углекопов направился тем временем к шахте, уступая место у огня другим. Жанлен, не дожидаясь отца, пошел за своей лампочкой в сопровождении толстого простодушного паренька Бебера и тщедушной десятилетней девочки Лидии. Мукетта шла впереди них; на темной лестнице она обозвала их паскудниками и пригрозила надавать оплеух, если они будут щипаться.

Этьен в самом деле оказался в котельной; он разговаривал с кочегаром, который подкладывал в топку уголь. Ему стало холодно при мысли, что опять придется брести во мраке ночи. Он уже решил уйти, но в этот миг почувствовал, как на плечо ему легла чья-то рука.

– Идите-ка за мною, – сказала Катрина. – Там есть кое-что для вас.

Сперва он не понял. Потом его охватила безудержная радость, и он крепко пожал руку девушке.

– Спасибо, друг... Какой же вы, кстати сказать, добрый малый!

Катрина засмеялась, разглядывая его при красном свете топок. Ее забавляло, что парень принимал ее за мальчика, – она была очень худощава, а длинные волосы скрывал чепец. Этьен тоже смеялся от удовольствия, и оба с минуту стояли друг перед другом, весело хохоча; щеки у них пылали.

Тем временем в бараке, присев на корточки перед своим шкафом, Маэ снимал обувь и грубые шерстяные чулки. Когда Этьен подошел, они обсудили все с двух слов: тридцать су в день; работа утомительная, но он скоро втянется. Забойщик посоветовал Этьену остаться в башмаках и дал ему старую кожаную шапку, чтобы предохранить голову от ушибов; отец и сын пренебрегали этой мерой предосторожности. Затем из шкафчика были вынуты инструменты; там же находилась и лопатка Флерансы. После этого Маэ, спрятав в шкаф обувь, чулки, а также узелок Этьена, вдруг разозлился от нетерпения:

– Куда он запропастился, эта негодная кляча Шаваль? Опять, наверное, повалил какую-нибудь девчонку на кучу камней!.. Мы и так на полчаса сегодня опоздали.

Захария и Левак преспокойно грели себе спины. Наконец первый сказал:

– Это ты Шавалья ждешь?.. Он пришел раньше нас, только что спустился в шахту.

– Как? Ты это знал и до сих пор мне ничего не сказал? Идемте! Живей!

Катрине, гревшей у огня руки, пришлось идти вместе со всеми. Этьен пропустил ее вперед и пошел за нею. Он опять очутился в лабиринте лестниц и темных переходов, где босые ноги ступали мягко, словно в стоптанных туфлях. Ламповое отделение горело ярким светом; это было застекленное помещение со стойками, на которых рядами в несколько ярусов стояли сотни лампочек Дэви, накануне проверенных и вычищенных; все они пылали, словно свечи в сияющей часовне. У окошечка каждый рабочий брал свою лампочку, помеченную его номером, осматривал ее и собственноручно закрывал, а сидевший за столом табельщик отмечал в

регистрационной книге время отправления в шахту. Маэ пришлось самому выхлопотать лампочку для своего нового откатчика. Затем была еще одна процедура: рабочие проходили мимо особого контролера, проверявшего, хорошо ли закрыты лампы.

– Брр!.. Не очень-то здесь тепло, – пробормотала Катрина, дрожа от холода.

Этьен только кивнул головой. Они очутились у спуска в шахту, посреди обширного помещения, где разгуливал ветер. Он считал себя человеком мужественным, но все же неприятное чувство страха стеснило ему грудь, когда вокруг него снова загрохотали вагонетки, раздались глухие удары сигнального молота, сдавленный рев рупора, и когда он увидел перед собою непрестанно бегущие канаты, которые быстро наматывались и разматывались барабанами подъемной машины. Клетки поднимались и опускались, беззвучно скользя, словно крадущийся ночью хищный зверь, унося все новые и новые партии людей; казалось, их проглатывала пасть шахты. Теперь наступал его черед; ему было холодно, он напряженно молчал. Захария и Левак подсмеивались над ним: они не одобряли найма этого незнакомца, в особенности Левак, задетый тем, что с ним предварительно не посоветовались. Катрина обрадовалась, услышав, как отец принялся объяснять Этьену устройство машины:

– Вот смотри: над клетью устроен парашют, а если канат лопнет, эти железные зубья вопьются в деревянные брусья. Ну да это не так часто случается... Шахтный колодец разделен на три части; они отгорожены друг от друга досками сверху донизу; посредине движутся клетки, а слева идут лестницы...

Но тут он прервал свои объяснения и начал ворчать, не решаясь, однако, слишком возвысить голос:

– Чего же это мы тут канителиться, черт возьми! Не дело этак морозить людей!

Штейгер Ришомм, с яркой, без сетки, лампочкой, прикрепленной к кожаной шапке, тоже собирался спуститься в шахту; он услышал ворчание Маэ.

– Полегче... У стен есть уши! – отеческим тоном проговорил старый шахтер, который и теперь, сделавшись штейгером, не перестал быть товарищем для своих. – Все должно идти своим чередом... Ну вот, теперь и нам можно; влезайте все.

В самом деле, перед ними была клеть, обитая железными полосами и забранная с боков частой решеткой; она остановилась и ждала их. Маэ, Захария, Левак и Катрина влезли в одну из нижних вагонеток, а так как в ней должно было поместиться пять человек, то к ним присоединился и Этьен. Но все удобные места были уже заняты, и ему пришлось кое-как втиснуться возле девушки, локоть которой упирался ему в живот. Лампочка мешала ему; кто-то посоветовал прицепить ее к пуговице блузы. Он не расслышал и продолжал держать ее в руке, хотя это было неудобно. Загрузка продолжалась, людей напихивали все больше и больше, как скот. Клеть все не отправляли. Что там произошло? Этьену казалось, будто он ждет бесконечно долго. Но вот клеть встряхнуло, все померкло, окружающие предметы стали уплывать, голова его закружилась от быстрого спуска, и он испытывал мучительную тошноту. Так продолжалось, пока они двигались на свету, проходя два яруса приемочной, где вокруг них, казалось, кружились и бежали железные переплеты. Затем клеть погрузилась во мрак шахты. Этьен был совершенно ошеломлен и уже не мог дать себе ясного отчета в испытываемых ощущениях.

– Вот и отправились, – спокойно проговорил Маэ.

Все чувствовали себя как ни в чем не бывало. А Этьен порою не понимал, опускаются они или поднимаются. Иногда наступали мгновения как бы полной неподвижности, – это было, когда клеть падала отвесно, не задевая боковых брусьев; но вслед за тем начинались резкие толчки, словно клеть плясала между досками, и Этьен стал бояться крушения. В скудном свете лампочек он различал только сгрудившиеся тела. Лишь в соседней вагонетке яркая лампочка штейгера сверкала, как маяк.

– Здесь четыре метра в диаметре, – продолжал объяснять Маэ. – Обшивку давно следовало бы починить, – вода просачивается отовсюду... Вот! Мы как раз на этом уровне, слышите?

Этьен недоумевал, откуда этот шум: будто шел проливной дождь. Сначала на крышу клетки упало несколько крупных капель, как при начале ливня; потом дождь стал все усиливаться и перешел в настоящий поток. Крыша клетки, очевидно, продырявилась: струя воды падала на плечи Этьену и промочила его до нитки. Холод становился нестерпимым; клеть погружалась в сырой мрак. Но вот перед ними внезапно, как молния, промелькнула освещенная пещера, по которой двигались люди, и все снова утонуло во мраке.

– Это первый ярус, – сказал Маэ. – Мы на глубине трехсот двадцати метров... Смотрите, какая скорость!

Подняв лампочку, он осветил один из боковых брусьев, который убегал, словно рельсы из-под поезда, мчащегося на всех парах; кроме этого, по-прежнему ничего не было видно. Внезапными просветами мелькнули еще три яруса. В потемках не переставая шумел проливной дождь.

– Как глубоко! – пробормотал Этьен.

Ему казалось, что спуск длится уже несколько часов. Было мучительно неудобно, он не мог пошевелинуться, да еще локоть Катрины не давал ему покоя. Она не произносила ни слова. Этьен только ощущал ее возле себя, и это его согревало. Когда клеть наконец остановилась на глубине пятисот пятидесяти четырех метров, он очень изумился, узнав, что спуск продолжался ровно минуту. Грохот задвижек, привычное ощущение твердой почвы под ногами внезапно развеселили его, и он шутя заговорил с Катриной на «ты»:

– Что у тебя там под кожей, что ты такой горячий? У меня до сих пор в животе от твоего локтя неладно.

Она тоже расхохоталась. Ну как он глуп, что все еще принимает ее за мальчишку! Что у него – глаз, что ли, нет?

– Это у тебя в глазах неладно, – проговорила она смеясь; молодой человек изумился, но опять ничего не понял.

Клеть опустела, рабочие перешли в помещение для загрузки угля. Это было нечто вроде зала, высеченного в скале и укрепленного кирпичным сводом; его освещали три больших лампы без предохранительных сеток. Нагрузчики поспешно катили по чугунным плитам полные вагонетки. От стен исходил запах погреба, селитряная сырость; из соседней конюшни порою тянуло теплым воздухом. Отсюда расходились четыре зияющие галереи.

– Сюда, – сказал Маэ, обращаясь к Этьену. – Мы еще не на месте, нам надо пройти добрых два километра.

Рабочие разделились на группы и стали постепенно исчезать в глубине черных проходов. Человек пятнадцать направились налево, Этьен шел последним, вслед за Маэ, а перед ним – Катрина, Захария и Левак. Это была прекрасная галерея, удобная для откатывания, пробитая в таком твердом пласту, что ее лишь кое-где приходилось укреплять. И они все шли и шли – один за другим, не говоря ни слова; лампочки еле освещали путь. Молодой человек спотыкался на каждом шагу, рельсы мешали ему идти. Он с тревогой прислушивался к глухому шуму, подобному гулу отдаленной бури; шум все усиливался, – казалось, он вырывался из недр земли. Вдруг это грохот обвала, и он сокрушит у них над головами всю огромную толщу, отделяющую их от дневного света? Но вот в потемках что-то замерцало, и Этьен почувствовал, что почва дрожит. Он и его спутники выстроились вдоль стены, и мимо них прошла большая белая лошадь; она тащила поезд из вагонеток. На передней вагонетке, держа вожжи, сидел Бебер; за последней, упершись руками в борт, бежал босиком Жанлен.

Они снова пошли. Через некоторое время показался перекресток; от него ответвлялись две новые галереи. Рабочие опять разбились на более мелкие группы и разошлись мало-помалу по всем ходам шахты, где производились работы. Здесь галерея была уже вся укреплена; рыхлый свод, обшитый досками, поддерживался дубовыми подпорками; между ними виднелись слои шифера с блестками слюды и грузные массы тусклого шероховатого песчаника. Поезда

вагонеток – то нагруженных, то пустых – беспрестанно с грохотом проходили мимо них, встречались и уходили в темноту; их тащили лошади, которые двигались, словно призраки. В одном месте путь раздваивался. Здесь дремал остановившийся поезд, похожий на спящую черную змею; лошадь фыркала; во мраке ее едва можно было различить: туловище ее казалось глыбой, выпавшей из свода. То и дело отворялись и медленно затворялись вентиляционные двери. По мере того как углекопы продвигались вперед, галерея становилась все уже, все ниже; потолок был неровный, и приходилось беспрестанно нагибаться.

Этьен больно ушиб голову. Если б не кожаная шапка, он раскроил бы себе череп. Он стал внимательно следить за всеми движениями Маэ, шедшего перед ним: его сумрачный силуэт обрисовывался при мерцании лампочек. Из рабочих никто не ушибся, – они, верно, знали каждую перекладину деревянных креплений, каждый выступ камня. Этьена сильно затрудняла скользкая почва под ногами; чем дальше, тем она становилась сырее. Но больше всего изумляли его резкие скачки температуры. В глубине шахтного колодца было очень свежо, а в галерее, по которой проходил поток воздуха, дул резкий, холодный ветер, ревавший в узких стенах, словно буря. По мере того как они углублялись в другие штольни, куда проникало лишь немного воздуха из вентиляторов, ветер прекращался, наступала удушливая, гнетущая жара.

Маэ молчал. Только поворачивая направо, в новую галерею, он не оборачиваясь сказал Этьену:

– Жила Гийома.

На этом пласту работала их партия. С первых же шагов Этьен расшиб себе голову и локти. Покатый потолок спускался так низко, что на протяжении двадцати или тридцати метров ему пришлось идти, согнувшись вдвое. Вода доходила до щиколоток. Так они прошли двести метров, и вдруг Левак, Захария и Катрина исчезли у него на глазах, как будто их поглотила узкая расщелина, открывшаяся перед ним.

– Надо подняться туда, – сказал Маэ. – Прицепи лампочку к пуговице и лезь, держась руками за бревна.

Сам он исчез. Этьен должен был следовать за ним. Эта расщелина в пласту служила проходом для углекопов; через нее можно было попасть во все боковые штольни. Расщелина была не шире самого угольного пласта и едва достигала шестидесяти сантиметров. Хорошо еще, что Этьен был худощав; и все же он, с непривычки, затрачивал очень много сил, подвигаясь вперед. Весь съездившись, он толкался плечами и бедрами о стенки и хватался за бревна. Поднявшись метров на пятнадцать, они достигли первого бокового прохода; но пришлось пробираться еще дальше: забой Маэ и его товарищей находился в шестом ярусе – в преисподней, как они выражались. Штольни следовали одна над другой, приблизительно через каждые пятнадцать метров, а конца этой щели все не было. От подъема надрывались спина и грудь. Этьен выбился из сил, как будто порода своей тяжестью раздавила ему все тело; руки у него покрылись ссадинами, ноги были разбиты, к тому же он задыхался и чувствовал, как кровь приливает к голове. В одной штольне он смутно различил два скрюченных существа, кативших вагонетки, – одно щуплое, другое толстое: то были Лидия и Мукетта, уже начавшие работать. А ему оставалось лезть еще два яруса! Пот слепил глаза, он отчаивался догнать своих спутников, чьи ловкие тела, казалось, так и скользили по пласту.

– Ну вот, мы уже пришли! – послышался голос Катрины.

Но когда он действительно добрался до цели, другой голос закричал из глубины штольни:

– В чем дело? Что вам – на других наплевать, что ли? Мне из Монсу два километра идти, а я раньше вас на месте!

Это крикнул Шаваль, высокий худой парень двадцати пяти лет, костлявый, с резкими чертами лица. Он злился оттого, что его заставили ждать.

Увидав Этьена, он спросил удивленно и презрительно:

– Это еще кто?

И когда Маэ рассказал ему о случившемся, он процедил сквозь зубы:

– Так... Значит, теперь парни у девочек хлеб отбивают!

Этьен и Шаваль обменялись взглядом инстинктивной, внезапно загоревшейся ненависти. Этьен безотчетно почувствовал, что его оскорбили. Воцарилось молчание; все принялись за работу. Галереи мало-помалу наполнились, партии людей заработали в каждом ярусе, в конце каждой штольни. Прожорливая шахта поглотила свою ежедневную порцию – около семисот рабочих. Теперь они все трудились в этом исполинском муравейнике, прокладывая повсюду в земле ходы, кроша ее, словно гнилое дерево, источенное червями. В тягостном молчании дробили они глубокие пласты. Приложив ухо к скале, можно было бы услышать движение этих людей-насекомых, свист каната, поднимающего и опускающего клетки с углем, и звук орудий, высекающих каменный уголь в самых глубоких ходах.

Случайно повернувшись, Этьен оказался снова прижатым к Катрине. Но на этот раз он ощутил округлость ее зреющей груди и сразу понял, откуда исходила теплота, пронизывавшая все его существо, когда он касался ее тела.

– Так ты... девушка? – тихо проговорил он, крайне изумленный.

Она весело ответила не краснея:

– Ну да!.. Не скоро же ты сообразил, парень!

IV

Четверо забойщиков разместились, один над другим, во всю вышину забоя. Их отделяли друг от друга доски с крюками, на которых задерживался отбитый уголь; каждый рабочий занимал участок приблизительно в четыре метра длины. Пласт был так тонок, что едва достигал в этом месте пятидесяти сантиметров, и забойщики, пробираясь на коленях и на локтях, были как бы сплюснены между сводом и стеной и при каждом повороте больно ударялись плечами. Во время работы в шахтах им приходилось лежать на боку, вытянув шею, подняв руки и орудия кирками.

Внизу находился Захария; над ним разместились Левак и Шаваль, и наконец на самом верху работал Маэ. Они кирками пробивали борозды в шиферном слое, затем делали два вертикальных надреза в самом угольном пласту и наконец отсекали верхнюю часть глыбы железным заступом. Уголь был жирный, глыба разбивалась на мелкие куски, которые скатывались по животу и по ногам рабочего. Когда эти куски, задерживаемые досками, накапливались у них под ногами, забойщики исчезали, словно замурованные в узкой щели.

Хуже всех приходилось Маэ. Наверху температура достигала тридцати пяти градусов, приток воздуха отсутствовал, духота становилась невыносимой. Чтобы виднее было в темноте, ему пришлось повесить лампочку над самой головой; и лампочка эта так сильно припекала голову, что, казалось, вся кровь разливалась по телу жгучей лавой. Но особенное мучение причиняла сырость. Как раз над Маэ, в нескольких сантиметрах от его лица, просачивалась грунтовая вода, быстро падая в какому-то упорном ритме крупными каплями на одно и то же место. Тщетно поворачивал он шею и закидывал голову назад: вода капала непрерывно, заливая ему лицо. Через четверть часа он совершенно промок от пота и воды; от его одежды поднимался дымящийся влажный пар, как от белья во время стирки. В то утро капля попала старику прямо в глаз, и он даже выругался. Маэ не хотел бросать работу и продолжал ударять киркою изо всех сил, так что все тело его сотрясало. Лежа между двумя пластами угля, он похож был на тлю среди страниц толстого тома, которую вот-вот раздавит тяжесть.

Никто не произносил ни единого слова. Все работали; кругом слышались одни лишь неровные, заглушенные удары, доносившиеся как бы издалека. Звуки приобретали особую четкость, не будя отклика в застывшем воздухе. Мрак казался еще черней от летучей угольной пыли и газа, от которого темнело в глазах. Лампочки, прикрытые металлическими сетками,

бросали лишь слабый красноватый отсвет. Ничего нельзя было различить; штольня зияла, уходя ввысь, как широкая печная труба, плоская и косая, в которой накопилась густая многолетняя сажа. В крошечной тьме этой трубы копошились какие-то призрачные фигуры. Слабый, мерцающий свет вырывал из темноты то округлость бедра, то жилистую руку, то свирепое лицо, измазанное до неузнаваемости, словно у злодея, идущего на разбой. Порой выступали из тьмы внезапно освещенные глыбы угля, деревянные перегородки и углы, сверкавшие, словно грани кристалла. И снова все погружалось во мрак; только раздавались глухие удары кирок, тяжелое дыхание да воркотня от усталости, невыносимой духоты и грунтовых вод.

Захария, обмякший после воскресной попойки, вскоре оставил работу под предлогом, будто ему надо подставить подпорки; это дало ему возможность отдохнуть, и он тихонько насвистывал, рассеянно глядя в темноту. Позади забойщиков осталось пустое пространство метра в три; тем не менее рабочие не позаботились укрепить глыбу, не думая об опасности и жалея рабочее время.

– Эй ты, белоручка! – крикнул молодой человек Этьену. – Давай сюда подпорки.

Этьену, которого Катрина обучала, как надо орудовать лопаткой, пришлось подавать доски – оставался небольшой запас еще со вчерашнего дня. Доски были нарезаны по размеру каждого слоя угля, и обычно их спускали сюда по утрам.

– Да поворачивайся же, лентяй, черт тебя возьми! – крикнул Захария, видя, как новый откатчик неловко пробирается между гудами угля, неся в руках четыре дубовых бруска.

С помощью кирки забойщик делал одну зарубку в своде и другую в стене; затем с двух концов запихивал бруски, которые подпирали глыбу. После обеда ремонтные рабочие расчищали галерею и засыпали отработанные слои жилы вместе с остатками брусков, оставляя свободными только верхние и нижние проходы, необходимые для откатки.

Маэ перестал ворчать. Ему удалось наконец отбить глыбу угля. Он отер рукавом обильный пот и обернулся взглянуть, что делает Захария у него за спиной.

– Брось, – сказал он. – После завтрака поглядим. Примемся лучше за работу, а то у нас не наберется положенного числа вагонеток.

– Дело в том, – промолвил молодой человек, – что тут начинает оседать. Посмотри, уже трещина. Боюсь, как бы не обрушилось.

Но отец пожал плечами. Какие пустяки! Ничего не обрушится! А потом им ведь не впервой, вывернутся как-нибудь. В конце концов, он рассердился и послал сына в глубь штольни. Впрочем, остальные тоже оставили работу. Левак, лежа на спине, бранился, рассматривая палец левой руки, ободранный до крови упавшим камнем. Шаваль с ожесточением стащил с себя рубашку и оголился по пояс, чтобы не было так жарко. Все они уже почернели от тонкой угольной пыли; смешавшись с потом, она текла с них темными струйками. Первым принялся за работу Маэ. Голова его приходилась ниже, на одном уровне с глыбой; вода каплями падала на лоб, и казалось, что она в конце концов просверлит ему череп.

– Не надо обращать на них внимания, – сказала Катрина Этьену. – Они вечно грызутся.

Девушка снова терпеливо принялась его обучать. Каждая нагруженная вагонетка, появлявшаяся наверху, была отмечена особым жетоном, по нему приемщик мог занести ее в счет артели; поэтому надо нагружать очень внимательно, и только чистым углем, иначе вагонетку могли не принять.

Молодой человек, глаза которого начинали привыкать к мраку, глядел на ее белое, бескровное лицо. Он никак не мог определить ее возраста; на вид ей можно было дать двенадцать лет – до того она была хрупка. А между тем она казалась старше, держалась по-мужски развязно, с наивной дерзостью, и это несколько смущало Этьена. Ему не понравилась ее мальчишеская голова с бледным личиком, стянутая на висках чепцом. Но его поражала сила этой девочки, ее упругость и ловкость. Она наполняла свою вагонетку быстрее, чем он, равномерными и легкими взмахами лопатки; затем одним толчком плавно продвигала ее до ската, нигде

не зацепляя и легко пробираясь под низкими сводами. Этьен же ушибался на каждом шагу, вагонетка сходила у него с рельсов. Он впадал в отчаяние.

В самом деле, дорога не отличалась удобством. От забоя до ската было метров шестьдесят, и ход, который рабочие еще не успели расширить, представлял собою настоящую траншею с очень неровным сводом и с частыми выступами. В некоторых местах нагруженная вагонетка едва могла пройти, и тогда откатчику приходилось пробираться на коленях, чтобы не разmozжить себе голову. К тому же подпорки прогнулись и кое-где уже потрескались. Они были расщеплены в середине и местами торчали, как сломанные костыли. Надо было проходить крайне осторожно, чтобы не исцарапаться; и под тяжелым грузом оседавшей породы, от которого толстые дубовые брусья могли разлететься в щепы, люди ползали на животе в вечном страхе сломать себе шею.

– Опять! – произнесла смеясь Катрина.

Вагонетка Этьена сошла с рельсов в самом тяжелом месте прохода. Он никак не мог катить ее прямо по рельсам, врезавшимся во влажную землю; он бранился, выходил из себя и выбивался из сил, тщетно стараясь невероятными усилиями поставить колеса на место.

– Да погоди, – продолжала девушка. – Если будешь злиться, ничего не выйдет.

Она ловко скользнула под вагонетку и одним усилием, спиной, приподняла ее и поставила на рельсы; вагонетка весила семьсот килограммов. Этьен, пораженный и пристыженный, лепетал какие-то извинения.

Катрина показала ему, как расставлять ноги, чтобы лучше упираться в подпорки, стоящие по обе стороны галереи. Тело должно быть наклонено вперед, руки вытянуты так, чтобы можно было толкать вагонетку соединенными усилиями всех мускулов рук и ног. Во время одного из таких путешествий Этьен последовал за ней и видел, как она шла, изогнувши все тело и держа руки так низко, что казалось, будто она ползет на четвереньках, подобно карликам, которых показывают в цирках. Пот лил с нее градом, девушка задыхалась, суставы хрустели, но она продолжала работать без единой жалобы, с привычным безразличием, как будто жизнь на четвереньках – общий удел этих несчастных. Ему же работа не давалась: башмаки жали, тело изнемогало оттого, что приходилось двигаться скорчившись, низко опустив голову. Через несколько минут такое положение становилось настоящей пыткой, мучительной и нестерпимой; и он опускался на колени, чтобы разогнуть спину и передохнуть хотя бы на мгновение.

В боковой штольне Этьена ждала новая работа: Катрина стала учить его, как прицеплять вагонетки. Вверху и внизу ската, обслуживавшего штольни во всех ярусах, находилось по одному подручному – один спускал вагонетку сверху, а другой принимал ее внизу. Эти двенадцати- и пятнадцатилетние сорванцы перебрасывались непристойными словами; чтобы предупредить их, приходилось выкрикивать еще более яростные ругательства. Как только внизу появлялась пустая вагонетка, приемщик тотчас давал сигнал, откатчица прицепляла полную вагонетку, приемщик нажимал рычаг, и вагонетка опускалась, поднимая своей тяжестью другую, пустую. В нижней галерее образовывались целые поезда из нагруженных вагонеток; лошади подвозили их к подъемной машине.

– Эй вы, чертовы клячи! – крикнула Катрина в укрепленную балками галерею длиной в сто метров, где каждый звук отдавался, словно в гигантском рупоре.

Подручные, вероятно, отдыхали, – ни один не откликнулся. Во всех ярусах перевозка прекратилась. Послышался тонкий детский голос:

– Верно, они балуются с Мукеттой.

Отовсюду раздался громовой хохот, откатчицы во всей шахте держались от смеха за бока.

– Кто это? – спросил Этьен у Катрины.

Девушка ответила, что это Лидия, девчонка, прошедшая огонь и воду; вагонетку она катает не хуже взрослой женщины, несмотря на свои кукольные ручки. Ну, а Мукетта способна гулять с несколькими сразу.

Но вот снова раздался голос приемщика: он кричал, чтобы прицепляли. Вероятно, внизу проходил штейгер. Во всех девяти ярусах закипела работа; только и были слышны равномерные оклики подручных да сопение откатчиц; они добирались до галереи, запаренные, как кобылы, изнемогая под непомерной тяжестью груза. В этом было что-то скотское; шахтерами овладевала внезапная ярость самцов при виде девушек на четвереньках с выпяченным задом, в мужских штанах, обтягивающих бедра.

Возвращаясь, Этьен каждый раз попадал в духоту забоя, слышал глухие прерывистые удары кирок и глубокие, тяжкие вздохи забойщиков, изнемогавших на работе. Все четверо разделись догола и с головы до пят были вымазаны углем, превратившимся в черную грязь. Раз пришлось высвободить задыхавшегося Маэ, поднять доски, чтобы спустить уголь. Захария и Левак проклинали угольный пласт, который становился все тверже, отчего работа с каждым днем делалась тяжелее. Шаваль иногда оборачивался, ложился навзничь и принимался бранить Этьена, чье присутствие явно его раздражало.

– Настоящий уж! У него меньше сил, чем у любой девчонки!.. Так-то ты думаешь нагрузить свою вагонетку? А? Ты, верно, бережешь руки... Помяни мое слово! Я у тебя вычту десять су, если по твоей милости у нас не примут хотя бы одну вагонетку!

Молодой человек не отвечал ни слова, счастливый тем, что ему удалось найти хотя бы эту каторжную работу, и терпеливо сносил грубую брань откатчика и старшего рабочего. Но он не в силах был больше двигаться: ноги его стерлись до крови, все тело сводили страшные судороги, туловище, казалось, стягивал какой-то железный пояс. К счастью, было десять часов, и забойщики решили, что пора завтракать.

У Маэ имелись часы, на которые он, впрочем, и не посмотрел. В этом беспросветном мраке он никогда, даже на пять минут, не ошибался. Все надели рубашки и блузы. Спустившись из штольни, они присели на корточки, пригнув локти к коленям, в привычном для шахтеров положении, обходясь без камня или бревна. Затем каждый принялся за свой завтрак, медленно откусывая от толстого ломтя; изредка углекопы перекидывались отдельными словами относительно утренней работы. Катрина ела стоя; через некоторое время она подошла к Этьену, который лежал поодаль, между рельсами, прислонясь к подпоркам. Там было почти сухо.

– Ты ничего не ешь? – спросила она с набитым ртом, держа в руке ломоть хлеба.

Вдруг она вспомнила, что он шел пешком всю ночь без гроша, а может быть, и без куска хлеба.

– Хочешь, я поделюсь с тобой?

Этьен дрожащим от голода голосом принялся уверять ее, что совсем не хочет есть. Тогда Катрина весело проговорила:

– Ну, если ты брезгуешь!.. погоди, я откусила только с одной стороны, а тебе отломлю отсюда.

Она разломила хлеб пополам. Молодой человек получил свою долю, и ему стоило большого труда не съесть всей порции сразу; он прижал руки к бокам, чтобы девушка не заметила, что он дрожит. Катрина спокойно, как добрый товарищ, растянулась возле него на животе; одной рукой она подпирала подбородок, а в другой держала бутерброд, от которого откусывала кусок за куском. Стоявшие между ними лампочки освещали их.

Катрина молча посмотрела на Этьена. Ей, видимо, нравилось его красивое, тонкое лицо с черными усами.

По губам ее бегло скользнула улыбка.

– Значит, ты механик и тебя прогнали с железной дороги. А за что?

– За то, что я дал пощечину начальнику.

Катрина остоленела от такого ответа: она унаследовала понятия о подчинении и безусловном послушании.

– Должен сознаться, я тогда был пьян, – продолжал Этьен, – а когда я напиваюсь, то делаюсь бешеным и готов съесть и себя и других... Да, мне достаточно опрокинуть две рюмки, чтобы у меня явилось желание сожрать человека... А потом я дня два отхожу...

– Не надо пить, – серьезно проговорила она.

– Не беспокойся, уж я себя знаю!

И Этьен покачал головой. Он ненавидел водку, в нем говорило отвращение младшего отпрыска целого поколения пьяниц, которое алкоголем подорвало весь его организм; каждая капля водки становилась для него ядом.

– Мне только матери жаль... что теперь с ней будет, – сказал он, проглотив кусок. – Ей живется не больно сладко, а я все же посылал ей время от времени немного денег.

– А где живет твоя мать?

– В Париже... на улице Гут-д'Ор. Она прачка.

Наступило молчание. Когда Этьен вспоминал о матери, сознание беды, которую он натворил, и дальнейшая неизвестность острой тоской наполняли его здоровое молодое тело и затуманивали черные глаза. На мгновение он устремил взор в темную даль штольни. И вот здесь, в этой глубине, под душной тяжестью земли, перед ним встали образы детства: мать, еще молодая, красивая, брошенная отцом, снова вернувшимся к ней, когда она была уже женой другого; жизнь между этими двумя мужчинами, которые обдирали ее, с которыми она опускалась в пьяном угаре все ниже и ниже, на самое дно. Этьен припомнил улицу, где они жили, и все подробности: грязное белье посреди прачечной, беспробудное пьянство, оплеухи, от которых трещали скулы.

– А теперь, – проговорил он медленно, – с тридцатью су в кармане не очень-то я ей помогу. Помрет, наверное, от нужды.

В безнадежном отчаянии он съежился и снова откусил от своего ломтя.

– Хочешь? – спросила Катрина, показывая фляжку. – Тут у меня кофе, он тебе не повредит. А то если будешь есть всухомятку, у тебя пересохнет в горле.

Но Этьен отказался; довольно и того, что он взял половину ее хлеба. Катрина продолжала настаивать и наконец со своим обычным радушием промолвила:

– Хорошо, я выпью первая, раз уж ты такой церемонный... Но зато теперь тебе нельзя уже больше отказываться, это было бы свинство с твоей стороны.

И, приподнявшись на коленях, Катрина протянула ему фляжку. Этьен увидел тогда совсем близко от себя эту девушку, освещенную двумя лампочками. Почему раньше она показалась ему некрасивой? Теперь, когда все лицо ее покрылось черной угольной пылью, она показалась ему намного привлекательней. Полные губы полуоткрыты; сверкали ослепительные зубы, оттеняя темный овал лица; большие глаза горели зеленоватым огнем, словно у кошки; прядь рыжих волос, выбиваясь из-под чепца, щекотала ей ухо, и она смеялась. Она уже не казалась такой малолеткой, ей смело можно было дать лет четырнадцать.

– Разве чтоб доставить тебе удовольствие... – сказал он, отпив из фляжки и отдавая ее Катрине.

Она хлебнула еще раз и заставила его проделать то же самое, чтобы обоим досталось поровну, как она сказала; странствование узкого горлышка фляжки от уст к устам забавляло их. Внезапно ему пришла в голову мысль схватить ее и поцеловать. Ее бледно-розовые полные губы, потемневшие от угля, вызывали в нем мучительное желание. Но он не решался, робея. В Лилле ему приходилось иметь дело только с проститутками, да притом еще самого низкого пошиба, и он совершенно не знал, как ему вести себя с девушкой, которая, к тому же, живет в семье.

– Тебе, верно, лет четырнадцать? – спросил Этьен, снова принимаясь за хлеб.

Она слегка рассердилась. Это ее удивило.

– Как четырнадцать? Мне уже пятнадцать!.. Правда, я мала ростом, у нас девушки растут очень медленно.

Он продолжал ее расспрашивать, а она рассказывала ему все без бахвальства и не стыдясь. Ей, по-видимому, были хорошо известны отношения между мужчиной и женщиной, но в то же время Этьен чувствовал, что тело ее нетронуто, она еще совсем ребенок, задержанный в своем развитии вследствие нездоровых условий, в каких ей приходилось жить. Когда он опять заговорил о Мукетте, думая смутить Катрину, она спокойно и весело принялась ему рассказывать самые невероятные истории. Да, Мукетта выкидывает такие штуки! А когда он спросил, нет ли у нее самой дружка, Катрина шутя ответила, что не хочет огорчать мать, но в один прекрасный день это с ней неминуемо случится. Она сторбилась, слегка продрогнув, ведь одежда ее промокла от пота, и глядела покорно и нежно, готовая подчиниться обстоятельствам и людям.

– Когда живешь рядом со всеми, легко ведь найти себе парня, не так ли?

– Конечно.

– И потом, – ведь это никому не приносит вреда, ведь так? Кюре об этом не рассказывают.

– Подумаешь, плевать мне на кюре!.. Но у нас тут бродит Черный человек.

– Что еще за Черный человек?

– Старый шахтер – он появляется в шахте и свертывает шеи наблудившим девушкам.

Этьен посмотрел на нее, думая, что она над ним смеется.

– И ты веришь таким глупостям? Значит, ты ничего не знаешь!

– Как же, я умею читать и писать. Это нам полезно; а вот когда папа и мама были детьми, их не учили.

Положительно, она очень мила. И Этьен решил: как только она покончит со своим бутербродом, обнять ее и поцеловать в полные розовые губы. Но он робел, мысль о такой дерзости сдавливала ему горло. Мужская одежда – куртка и панталоны на этом девическом теле возбуждали и смущали его. Он проглотил последний кусок. Напившись из фляжки, он отдал ее девушке, чтобы допила. Теперь наступил решительный момент, и Этьен с беспокойством покосился на сидевших углекопов, как вдруг из глубины показалась чья-то тень, заслонившая проход.

Шаваль уже несколько минут смотрел на них издали. Он приблизился и, убедившись, что Маэ его не видит, подошел к сидевшей на земле Катрине, схватил ее за плечи, запрокинул голову и зажал рот девушки грубым поцелуем. Он проделал это совершенно спокойно, притворяясь, что не замечает Этьена. В этом поцелуе было сознание собственника, решимость, движимая ревностью. Девушка возмутилась.

– Оставь меня, слышишь!

Шаваль, придерживая ее голову, глубоко заглянул ей в глаза. Рыжие усы и борода, казалось, пылали на его черном лице с большим крючковатым носом. Наконец он отпустил ее и молча отошел.

Холодная дрожь пробежала по всему телу Этьена. Как глупо, что он чего-то выжидал. И уж, конечно, теперь он ее не поцелует: Катрина еще, пожалуй, подумает, что он это сделал в подражание тому, другому. Оскорбленный в своем тщеславии, он испытывал настоящее отчаяние.

– Зачем ты солгала? – тихо спросил Этьен. – Он твой дружок?

– Да нет же, клянусь тебе! – воскликнула она. – Между нами ничего такого нет. Это просто смеха ради... Он даже и нездешний, а всего только полгода, как прибыл из Па-де-Кале.

Надо было снова приниматься за работу; оба поднялись. Катрина как будто огорчилась, видя, что он замкнулся. Она, несомненно, находила Этьена красивее Шавалья и, быть может, предпочла бы его. Желание сказать ему что-нибудь ласковое и утешить его не давало ей покоя,

и, заметив, что молодой человек с удивлением смотрит на свою лампочку, горящую синим огнем, окаймленным широкой бледной полосой, она попробовала немного отвлечь его.

– Пойдем, я тебе кое-что покажу, – дружеским тоном сказала она.

Она отвела его в глубь забоя и показала ему трещину в слое угля. Там, казалось, что-то клокотало, доносился слабый звук, похожий на щебетание птицы.

– Приложи руку, чувствуешь, как дует?.. Это рудничный газ.

Он был поражен. Так вот оно, это ужасное вещество, от которого все взлетает на воздух! Она засмеялась, говоря, что на этот раз его очень много, – недаром лампочки горят синим огнем.

– Перестанете ли вы наконец болтать, бездельники? – грубо крикнул Маэ.

Катрина и Этъен поспешно нагрузили свои вагонетки и стали толкать их по направлению к скату, согнув спину, пробираясь ползком под неровными сводами штольни. Уже после вторичного захода пот лил с них градом и кости снова хрустели.

В шахте забойщики возобновили работу. Часто они сокращали время завтрака, чтобы не простудиться; бутерброды, жадно съеденные вдали от солнечного света, ложились на желудки свинцовой тяжестью. Вытянувшись на боку, рабочие все сильнее рубили уголь, охваченные одним желанием – наполнить возможно большее число вагонеток. Все меркло перед бешеной жаждой заработка, добываемого таким тяжелым трудом. Углекопы уже не замечали стекавшей воды, от которой распухали руки и ноги, не чувствовали судорог от неудобного положения, душного мрака, где они чахли, подобно растениям в подземелье. Но время шло, воздух становился все ядовитее, накалялся от закоптевших лампочек, от человеческих испарений, от газа, туманя взор, словно паутина, – воздух, который только вентилятор сможет ночью очистить. А они там, в своей кротовой норе, под тяжестью земли, ощущая огонь в груди, все долбили и долбили.

V

Маэ, не глядя на часы, которые он оставил в кармане блузы, остановился и сказал:

– Скоро час... Готово, Захария?

Молодой человек только что принялся за крепление балок. В самый разгар работы он лежал на спине с блуждающим взглядом и вспоминал о том, как накануне играл в шары. Он очнулся и ответил:

– Да, хватит пока, завтра будет видно.

И он вернулся на свое место в забое. Левак и Шаваль тоже бросили кирки. Наступил перерыв. Все отирали лица голыми руками и смотрели на расщепленную глыбу, нависшую сверху. Они говорили только о своей работе.

– Такое уж нам счастье, – проворчал Шаваль, – как раз попасть на породу, которая обваливается!.. Не приняли мы этого в расчет при подряде.

– Мошенники... – проворчал Левак. – Только и думают, как бы нас провести.

Захария рассмеялся. Ему было наплевать на работу и на все прочее, но его всегда забавляло, когда начинали бранить компанию. Маэ невозмутимо принялся объяснять, что качество породы меняется через каждые двадцать метров. Надо быть справедливым, ничего нельзя предвидеть. Но так как те двое продолжали ругать начальство, он беспокойно осмотрелся по сторонам:

– Тише, вы... Хватит!

– Ты прав, – сказал Левак, тоже понижая голос, – это опасно.

Страх перед донощиками преследовал их даже здесь, на такой глубине, как будто у пластов каменного угля, принадлежавших акционерам, могли быть уши.

– Тем не менее, – громко заявил Шаваль с вызывающим видом, – если эта свинья Дансарт опять заговорит со мной таким тоном, как в тот раз, я залеплю ему кирпичом в брюхо... Я ведь не мешаю ему тратить деньги на потаскушек с нежной кожей.

На этот раз Захария опять покатился со смеху. Вся шахта подтрунивала над любовными похождениями главного надзирателя с женой Пьеррона. Даже Катрина, стоявшая внизу штольни, опершись на лопатку, держалась за бока от смеха; она в двух словах объяснила Этьену, в чем дело. А Маэ, охваченный нескрываемым страхом, рассердился:

– Ты замолчишь!.. Ну попадись мне только под руку!

Не успел он кончить, как из верхней штольни послышался шум шагов. Тотчас же появился инженер – заведующий копами, – малыш Негрель, как звали его между собою рабочие, – в сопровождении главного штейгера Дансарта.

– Что я вам говорил? – прошептал Маэ. – Они всегда вырастают, словно из-под земли.

Поль Негрель, племянник г-на Энбо, был худощавым красивым юношей лет двадцати шести, курчавым, с темными усами. Острый нос и живые глаза придавали ему сходство с хорьком, а любезность и несколько скептический ум приобретали властный, надменный оттенок в обращении с рабочими. Он был одет, как они, и так же перепачкан углем. Чтобы внушить уважение к себе, Негрель старался проявлять необычайную отвагу – пробирался в самые опасные места, всегда впереди, под угрозой обвала или взрыва рудничного газа.

– Здесь, не правда ли, Дансарт? – спросил он.

Старший штейгер, бельгиец, человек с жирным лицом, мясистым носом и чувственными ноздрями, ответил преувеличенно вежливо:

– Да, господин Негрель... Вон тот человек, которого наняли сегодня утром.

Оба спустились на середину штольни. Этьену велели подойти. Инженер приподнял свою лампочку и взглянул на него, ни о чем не спрашивая.

– Хорошо, – промолвил он наконец. – Терпеть не могу, когда берут с улицы совершенно неизвестных людей... Проследите, чтобы этого больше не было.

И он не слушал, что ему говорили о характере работы, о необходимости заменить откатчиц мужчинами. Забойщики снова взялись за кирки, а Негрель принялся осматривать свод штольни. Вдруг он закричал:

– Послушайте, Маэ, вам жизнь не мила, что ли? Да вы все здесь останетесь на месте, пес вас возьми!

– Ничего, выдержит, – спокойно ответил рабочий.

– Да какое там выдержит! Порода уже оседает, а вы вбиваете подпорки на расстоянии более двух метров одну от другой, да и то нехотя! Все вы на один лад – предпочитаете разmozжить себе череп, чем оставить хоть на минуту забой и укрепить свод. Немедленно все укрепить! Увеличьте число подпорок вдвое, слышите!

Возражения углекопов, говоривших, что они вольны располагать своей жизнью, привели его в бешенство.

– Так! А вы будете отвечать за последствия, если разmozжите себе головы? Разумеется, нет! Поплатится за это компания, которой придется обеспечить вас и ваши семьи... Я хорошо вас знаю: чтобы добыть в день две лишние вагонетки, вы готовы пожертвовать собственной шкурой!

Маэ, несмотря на гнев, накипевший внутри, тихо сказал:

– Если бы нам достаточно платили, мы бы лучше делали крепления.

Инженер молча пожал плечами. Он прошел всю штольню и в самом низу крикнул:

– У вас остается час времени, принимайтесь за работу! Предупреждаю: ваша артель будет оштрафована на три франка!

Слова инженера были встречены глухим ропотом. Шахтеров удерживала только дисциплина – та железная дисциплина, которая заставляла всех – от подручного до главного надзи-

рателя – подчиняться безропотно. Впрочем, Шаваль и Левак не могли скрыть своего негодования; Маэ старался унять их взглядом, а Захария насмешливо пожимал плечами. Этьен был взволнован, быть может, больше всех. С тех пор, как он попал в этот ад, в нем поднималось глухое возмущение. Он смотрел на покорную, согбенную Катрину. Неужели следует убивать себя таким тяжким трудом среди вечного мрака, чтобы заработать какие-то гроши на хлеб?

Негрель между тем удалился с Дансартом, который то и дело одобрительно кивал головой. Вскоре опять послышались их голоса; они остановились и стали рассматривать подпорки в десяти метрах ниже того места, где работали шахтеры.

– Говорю вам, что им на все наплевать! – кричал инженер. – А вы тоже хороши, черт вас возьми! Вы, значит, ни за чем не следите?

– Как же, как же, – лепетал главный штейгер, – все время слежу. Постоянно приходится твердить им одно и то же.

Негрель громко крикнул:

– Маэ, Маэ!

Все спустились. Он продолжал:

– Взгляните сюда. Это, по-вашему, держится?... Все сделано кое-как. Эта подпорка ни к черту не годится: видно, что вбита наспех. Теперь я понимаю, почему нам так дорого обходится ремонт. Вам бы только еле продержалось, пока на вас ответственность! А потом все рушится, и компания вынуждена посылать целую армию ремонтных! Взгляните-ка сюда – ведь это верная смерть!

Шаваль хотел было что-то сказать, но Негрель заставил его замолчать.

– Бросьте, знаю я, что вы мне скажете! Чтобы вам больше платили, да? Хорошо, только предупреждаю, вы заставите правление сделать следующее: вам будут выплачивать за крепления отдельно, но пропорционально снизят плату за каждую вагонетку. Посмотрим, выгоднее ли это вам будет... А пока что переделайте все немедленно. Я завтра зайду.

И он ушел среди общего волнения, вызванного его угрозами. Лебезивший перед ним Дансарт задержался на несколько секунд и грубо рявкнул рабочим:

– Вот как вы меня подводите! От меня-то вы не отделаетесь тремя франками штрафа! Берегитесь!

Лишь только он ушел, Маэ, в свою очередь, разразился:

– Ну уж что несправедливо – то несправедливо, ей-богу! Я люблю говорить спокойно – только так и можно договориться; но ведь кончается тем, что человека выводят из терпения... Слыхали? Снизить плату за вагонетку и платить отдельно за крепления! Новый способ вытянуть у нас деньги!.. Эх, проклятье!

Он искал, на ком бы сорвать гнев, и вдруг увидел, что Катрина и Этьен стоят сложа руки.

– Будете вы подавать мне доски или нет? Разве это вас не касается? Запляшете вы у меня!

Этьен отправился за брусьями, нисколько не обижаясь на грубость, сам до того возмущенный начальством, что шахтеры показались ему слишком покладистыми.

Левак и Шаваль выругались и утихомирились. Все, даже Захария, яростно принялись укреплять штольню. В течение получаса слышались только частые удары да потрескивание дерева. Они не произносили ни слова и только тяжело дышали: глыба раздражала их, им хотелось столкнуть ее, выбить одним напором плеча, если бы это было возможным.

– Довольно, – сказал наконец Маэ, совершенно разбитый от усталости и гнева. – Полтора часа... Ну и денек! Мы не получим и пятидесяти су!.. Я ухожу, мне все опротивело.

И хотя осталось еще полчаса до окончания работы, он стал одеваться. Остальные последовали его примеру. Один вид штольни выводил их из себя. Откатчица опять принялась за работу; они окликнули ее, их раздражало ее усердие: если бы у угля были ноги, он вышел бы сам. И все шестеро, сунув инструменты под мышку, направились прежней дорогой к подъемной машине, до которой предстояло пройти два километра.

В узком проходе штольни Катрина и Этьен задержались и отстали от забойщиков, продолжавших спускаться вниз. Им повстречалась маленькая Лидия; она остановилась посреди дороги, чтобы пропустить их, и сообщила об исчезновении Мукетты: у нее пошла кровь носом, да так сильно, что она побежала делать себе примочки; куда она провалилась – неизвестно, но только ее нет вот уже целый час. Когда они отошли, девочка продолжала катить тележку, надрываясь, вся испачканная, напрягая свои хилые руки и ноги; она походила на черного муравья, который борется с непосильной ношей. А Этьен с Катриной спускались на спине, горбя плечи, боясь содрать себе кожу на лбу; стремительно съезжая по гладкой скале, отполированной телами шахтеров, они время от времени задерживались у бревен, – чтобы у них не загорелся зад, как говорили смеясь забойщики.

Внизу никого не было. Красноватые огоньки мелькали вдали, исчезая за поворотом галереи. Веселье молодых людей исчезло, и они шли тяжелыми, усталыми шагами – она впереди, а он позади. Лампочки коптели. Этьен едва различал Катрину в мглистом тумане. Мысль, что она – девушка, была ему теперь неприятна; глупо, что не он ее поцеловал, а подкатился этот другой. Несомненно, Катрина солгала ему: он был ее любовником, она отдавалась ему в потаенных углах; сама поступь ее была порочной. Этьен дулся на нее, как будто она его обманула. Между тем она поминутно оборачивалась к нему, предупреждая об опасных местах, и, казалось, приглашала его быть с ней полюбезнее.

Кругом не было ни души, – вот бы хорошо поболтать и посмеяться! Когда они наконец вышли в галерею с рельсами, Этьен вздохнул, словно избавился от какой-то муки; она же грустно взглянула на него еще раз, и во взгляде ее было сожаление о радости, которую им не суждено обрести.

Вокруг них рокотала подземная жизнь, беспрестанно сновали штейгеры, проносились взад и вперед поезда, которые тащили лошади. Во мраке повсюду мерцали лампочки. Поминутно приходилось прижиматься к стенам штольни, уступая дорогу людям и лошадям, чье горячее дыхание обдавало лицо. Жанлен бежал босиком за своим поездом и крикнул им вслед какую-то гнусность, но за грохотом колес они ее не расслышали. Они все шли. Девушка молчала; Этьен не узнавал ни извилин, ни проходов, по которым шел утром, и представлял, что они все глубже уходят под землю. Больше всего страдал он от холода, который ближе к выходу становился особенно нестерпимым. По мере того как Этьен приближался к шахтному колодцу, он дрожал все сильнее. В узких каменных проходах снова слышался свист и вой ветра. Молодому человеку казалось, что они никогда не выберутся, как вдруг, совершенно неожиданно, они очутились у подъемной машины.

Шаваль покосился на Этьена и Катрину, подозрительно скривив рот. Тут же были и остальные; они стояли потные, на ледяном сквозняке, безмолвные, как и он, тая гнев: они пришли слишком рано, их поднимут лишь через полчаса, тем более что в это время производились сложные приготовления для спуска лошади. Нагрузчики продолжали устанавливать вагонетки; слышался оглушительный лязг железа, и клетки взвивались под проливным дождем, хлеставшим из черной дыры. Внизу находилась сточная яма в десять метров глубиной, наполненная жидкостью; из нее тоже поднималась гнилая сырость. Люди беспрестанно толпились вокруг шахтного колодца, дергали сигнальные веревки, нажимали рычаги; их обдавала водяная пыль, от которой насквозь промокала одежда. Красноватый свет от трех лампочек без предохранительной сетки бросал длинные движущиеся тени и придавал этому подземелью вид разбойничьего притона, убежища бандитов, вблизи которого ревет горный поток.

Маэ решил на последнее средство. Он подошел к Пьеррону, который явился на вечернюю смену.

– Послушай, тебе ведь ничего не стоит велеть поднять нас.

Но грузчик – красивый, крепко сложенный малый с добродушным лицом – испуганно отказался.

– Невозможно, попросите штейгера... меня оштрафуют...

Пришлось подавить новый взрыв гнева. Катрина наклонилась и шепнула на ухо Этьену:

– Пойдем посмотрим конюшню. Вот где хорошо-то!

Они проскользнули в конюшню незаметно, так как вход туда был воспрещен. Конюшня помещалась налево, в конце короткой галереи. Это была пещера с кирпичными сводами, высеченная в скале, длиной в двадцать пять и вышиной в четыре метра; в ней могло поместиться двадцать лошадей. И в самом деле, там было хорошо: воздух, согретый животным теплом, запах свежей, чистой подстилки. Единственная лампочка, словно ночник, струила ровный неяркий свет. Отдыхавшие лошади повернули головы, глядя большими детскими глазами, затем снова принялись за овес – не спеша, как сытые, всеми любимые, здоровые работники.

Катрина вслух читала клички, написанные на цинковых дощечках, прибитых над кормушками; но вдруг она слабо вскрикнула: в глубине стояла поднялась какая-то фигура, – то была Мукетта, которая с испуганным лицом вылезла из-под вороха соломы, где она спала. По понедельникам, утомленная после воскресной гулянки, она обычно сильно ударяла себя по переносице, чтобы пошла из носа кровь, и убегала из штольни – будто бы за водой; на самом же деле она пробиралась в конюшню и ложилась там, среди лошадей, на теплую подстилку. Отец, из любви к ней, допускал это, хотя и рисковал нажать себе неприятность.

В это самое время вошел старый Мук, коротконогий плешистый мужчина лет пятидесяти, истомленный, хотя и толстый, что было редкостью для шахтера его возраста. С тех пор как его перевели на должность конюха, он до того пристрастился к жеванию табака, что его почерневшие десны кровоточили. Увидев, что с его дочерью еще двое, он рассердился.

– Чего вы тут все шляетесь? Эй вы, плутовки, зачем притащили сюда мужчину?.. Небось для того, чтобы проделывать все ваши мерзости у меня на соломе?

Мукетта нашла, что это очень забавно, и держалась за живот от хохота. Этьен же, смущенный, отошел. Катрина улыбнулась ему. Когда все трое вернулись в приемочную, туда же прибыли с поездом вагонеток Бебер и Жанлен. Вагонеткам пришлось дожидаться подъемной машины. Девушка подошла к лошади, приласкала ее и стала расхваливать своему спутнику. Это была Боевая, самая старая из всех лошадей шахты, белой масти, уже целых десять лет пробывшая под землей. Десять лет прожила она в этой яме, все в одном и том же стойле, постоянно выполняя ту же работу в темных подземных галереях, и уже больше никогда не видала дневного света. Разжиревшая, с гладко лоснящейся шерстью и добрыми глазами, она вела спокойную жизнь мудреца вдаль от земных бедствий. Впрочем, за время пребывания во мраке она стала очень сметливой. Она так хорошо изучила свой путь, что сама отворяла головой вентиляционные двери, наклоняясь в низких местах, чтобы не ушибиться. И конечно, она тоже считала проделанные ею концы; после положенного числа поездок она отказывалась от дальнейших, и ее приходилось отводить в стойло. А теперь приближалась старость, и кошачьи глаза ее временами подергивались дымкой скорби. В темных сновидениях она, быть может, видела свою родину в Маршьенне на берегу Скарпы, мельницу в густой зелени, колеблемой легким ветром. Что-то горело в воздухе – огромный светильник, точное представление о котором ускользало из ее лошадиной памяти. И она переступала дрожащими от старости ногами, понуриив голову и тщетно сясь вспомнить солнце.

Между тем у подъемной машины продолжалась работа; сигнальный молот ударил четыре раза – спускали лошадь. Это всегда вызывало волнение, так как порою случалось, что перепуганное животное опускалось уже мертвым. Наверху опутанная сетями лошадь отчаянно билась, но как только она чувствовала, что почва уходит из-под ног, она как бы застывала и цепенела; ни малейший трепет не пробегал у нее по коже, глаза оставались широко раскрытыми и неподвижными. На этот раз лошадь была слишком велика и не помещалась в подъемнике; пришлось поместить ее над клетью, пригнув голову и прикрутив набок. Из предосторожности спуск замедлили; он продолжался минуты три.

Волнение внизу все нарастало. В чем дело? Неужели ее так и оставят висеть в этом мраке? Наконец лошадь появилась, совершенно окаменелая; остановившиеся глаза ее были расширены от ужаса. Это была гнедая кобыла, без малого трех лет, по кличке Труба.

– Осторожнее! – крикнул старый Мук, которому поручено было принять лошадь. – Снимайте ее, только пока еще не развязывайте.

Вскоре Трубу, как тушу, уложили на чугунные плиты. Она не шевелилась и, казалось, все еще не могла оправиться от кошмарного видения этой темной, нескончаемой ямы, от гулкого шума и грохота, раздававшихся в обширном помещении приемочной. Когда ее начали развязывать, к ней подошла Боевая, которую только что распрягли; вытянув шею, она стала обнюхивать свою новую подругу, спущенную в шахту с поверхности земли. Рабочие расступились и шутили: «Ну что? Хорошо от нее пахнет?» Но Боевая, казалось, не слышала насмешек. Ею овладело волнение. Она вдыхала дивный запах свежего воздуха, забытый запах солнца и травы и вдруг звучно, ликующе заржала, – но в этом послышалось умиленное рыдание. Казалось, вновь прибывшая несла ей привет; то было веяние радости из бывшего мира, скорбь темничного коня, которому суждено вновь подняться на землю только мертвым.

– Ну и стерва же эта Боевая! – кричали рабочие, развеселившись от выходов своей любимцы. – Глядите, как она разговаривает со своей новой товаркой!

Между тем Труба, которую развязали, все еще не шевелилась. Она продолжала лежать на боку, оцепенев от страха, как будто чувствовала на себе сеть. Наконец ее, оглушенную и дрожащую, подняли на ноги ударом бича. Старый Мук увел обеих подружившихся лошадей.

– Ну что, придет наконец наш черед? – спросил Маэ.

Надо было освободить клетки, а кроме того, оставалось еще десять минут до окончания работ. Забои постепенно пустели, со всех штолен возвращались углекопы. Их собралось уже до пятидесяти человек. Все они были мокрые и дрожали от холода под вечной угрозой схватить воспаление легких. Пьеррон, несмотря на свою слащавую внешность, дал пощечину дочери за то, что она ушла из штольни раньше времени. Захария исподтишка щипал Мукетту, чтобы согреться. Между тем недовольство росло. Шаваль и Левак рассказывали об угрозе инженера сбавить плату с вагонетки и назначить отдельную плату за крепление. Проект этот был встречен сердитыми возгласами; в узкой щели, на глубине шестисот метров под землей, назревало возмущение. Скоро говорившие перестали сдерживаться; испачканные углем, продрогнув от ожидания, шахтеры обвиняли компанию за то, что она губит под землей половину своих рабочих, а остальных заставляет подыхать с голоду. Этьен слушал и весь дрожал.

– Скорее, скорее, – говорил штейгер Ришомм, обращаясь к загрузчикам.

Он торопил с подъемом и, не желая принимать крутых мер, делал вид, будто ничего не слышит.

Однако ропот до того усилился, что он принужден был вмешаться.

Позади него кричали, что так не может продолжаться вечно и что в одно прекрасное утро вся эта лавочка полетит к черту.

– Ты человек рассудительный, – обратился он к Маэ, – заставь их помолчать. Раз не можешь быть всех сильнее, надо по крайней мере быть всех умнее.

Маэ, который было успокоился, начинал уже тревожиться; но обошлось без его вмешательства. Все сразу умолкли: у входа одной из галерей показались Негрель и Дансарт, возвращавшиеся с обхода, тоже совсем потные. Привычка к дисциплине заставила рабочих посторожиться, и инженер прошел мимо, не сказав ни слова. Он сел в одну вагонетку, старший штейгер – в другую; сигнальную веревку дернули пять раз, возвещая, что едет «жирная туша», как говорили о начальстве, – и клеть поднялась среди угрюмой тишины.

VI

Поднимаясь в клетки вместе с четырьмя шахтерами, Этьен решил снова пуститься в голодное странствие по дорогам. Не все ли равно: околоть теперь же или каждый день спускаться в этот ад, где он даже не может заработать себе на хлеб? Катрина поместилась выше; она теперь не прижималась к нему, и он не ощущал усыпляющей теплоты ее тела. Он предпочитал не думать о пустяках и отправиться дальше. Как человек сравнительно развитой, Этьен чувствовал, что не сможет покоряться, подобно этой толпе; кончится тем, что он придушит кого-нибудь из начальства.

Вдруг его ослепило. Подъем совершился так быстро, что дневной свет, от которого он уже успел отвыкнуть, совершенно его ошеломил; он невольно зажмурился и почувствовал облегчение, когда один из приемщиков отворил дверь: рабочие выскочили из вагонеток.

– Послушай, Муке, – прошептал Захария на ухо приемщику, – пойдем нынче вечером в «Вулкан», а?

«Вулканом» назывался кафешантан в Монсу. Муке подмигнул левым глазом и осклабился во весь рот. Это был парень низкорослый и толстый, как его отец, с нахальной физиономией; видно было, что он готов на все и не больно заботится о завтрашнем дне. Вместе с ними выходила Мукетта, и он, в приливе братской нежности, звучно шлепнул ее по спине.

Этьен едва узнал высокую приемочную, которая утром, при тусклом свете фонарей, представлялась ему такой мрачной. Теперь это было просто голое грязное помещение. В запыленные окна глядел пасмурный день. Только машина ярко поблескивала медными частями; стальные канаты, обильно смазанные маслом, тянулись, словно ленты, окунутые в чернила; шкивы и переплеты в вышине, клетки, вагонетки и еще многие другие металлические части, потемневшие от времени, заполняли помещение. По чугунным плитам неумолчно грохотали колеса; от угля, который привозили в вагонетках, поднималась тонкая пыль, оседавшая черным налетом на полу, на стенах, вплоть до верхних балок башенного сруба.

Шаваль, взглянув на табель, висевший в небольшой застекленной приемочной конторе, пришел в ярость. У них не приняли двух вагонеток: в одной оказалось меньше установленного количества угля, во второй уголь был недостаточно чист.

– Славный денек, что и говорить! – воскликнул он. – Еще двадцать су долой! Нечего было нанимать лентяев, которые орудуют руками, как свинья хвостом.

И он посмотрел исподлобья на Этьена, как бы в дополнение к своим словам. Этьену очень хотелось ответить ему хорошим тумаком. Но он решил, что это ни к чему, раз он все равно уходит.

– Нельзя делать все хорошо с первого же раза, – примирительно возразил Маэ. – Завтра он будет работать лучше.

Тем не менее, все были раздражены и только искали повода к ссоре. Отдавая лампочку, Левак поругался с ламповщиком из-за того, что лампочка будто бы была плохо вычищена. Они немного успокоились только в бараке, где всегда топилась печь. Должно быть, положили слишком много угля: жаровня была раскалена докрасна, и большое помещение без окон казалось объатым пламенем; на стенах дрожали кровавые отблески. Все стали греться, повернувшись спиной к огню и весело ворча. От тел валил пар, как от суповой миски; когда спину напекало, принимались греть живот. Мукетта преспокойно спустила штаны, чтобы просушить рубашку. Парни начали балагурить, все захохотали, потому что она вдруг заголила зад; этим она всегда выражала крайнее свое презрение.

– Я ухожу, – сказал Шаваль, заперевав инструменты в шкафчик.

Никто не тронулся с места. Одна Мукетта бросилась за ним – под предлогом, что им обоим идти в Монсу. Но это вызвало только новые насмешки: все знали, что Шаваль к ней охладел.

Между тем Катрина озабоченно подошла к отцу и шепотом стала ему что-то говорить. Тот сначала удивился, потом одобрительно кивнул головой; подзвав Этьена, он отдал ему узелок и сказал:

– Послушайте, если у вас нет денег, вы с голоду подохнете до пятнадцатого числа... Хотите, я помогу вам где-нибудь призанять?

В первую минуту молодой человек смутился. Он только что собирался потребовать свои тридцать су и уйти. Но его удержал стыд перед девушкой. Она смотрела на него в упор: вдруг она вообразит, что он боится работы?

– Обещать наверняка я, конечно, ничего не могу, – продолжал Маэ. – Возможно, что нам и не дадут.

Этьен решил согласиться. Им, наверное, откажут. Впрочем, это его ни к чему не обязывает, – немного перехватив, он может в любое время уйти. Но вслед за тем ему стало досадно, что он не отказался: Катрина обрадовалась, мило улыбалась, дружески поглядывая на него, – она счастлива была, что пришла ему на помощь. К чему все это?

Отогревшись, достав обувь и заперев шкафчики, углекопы стали выходить из барака; последними ушли все Маэ. Этьен последовал за ними; Левак с сыном присоединились к ним. Проходя мимо сортировочной, они услышали яростную перебранку и остановились.

Сортировочная представляла собой большой сарай с балками, почерневшими от угольной пыли, с большими решетчатыми окнами, в которые постоянно тянуло сквозным ветром. Вагонетки с углем доставлялись сюда прямо из приемочной; их опрокидывали в длинные железные желоба, а по обеим сторонам желобов на приступках стояли сортировщицы – они выбрасывали лопатами и граблями камни, отделяя чистый уголь, падавший затем через воронки в вагоны железной дороги, подведенные по рельсам прямо под навес.

В сортировочной работала Филомена Левак – хрупкая, бледная девушка с покорными глазами; она харкала кровью. Голова ее была повязана синим шерстяным лоскутом, черные руки обнажены до локтей. За работой рядом с нею стояла старая ведьма, теща Пьеррона, по прозвищу Прожженная. Это была страшная баба – с глазами, как у совы; губы у нее были плотно сжаты, словно кошель скупца. Они-то и ссорились: молодая обвиняла старуху, что та отгребает у нее куски угля, так что она, Филомена, и за десять минут не может набрать корзины. Им платили за каждую корзину отсортированного угля; из-за этого постоянно возникали ссоры. Волосы у обеих были растрепаны, черные пальцы всей пятерней отпечатывались на разгоревшихся лицах.

– Дай ты ей, дай как следует по зубам! – крикнул сверху Захария своей любовнице.

Все сортировщицы захохотали. Рассвирепевшая Прожженная накинулась теперь на молодого человека:

– Ах ты, паскудник! Ты бы лучше признал детей, которыми ее наградил!.. Восемнадцать лет дылде, с позволения сказать, а едва на ногах стоит!

Чтобы удержать Захарию, потребовалось вмешательство Маэ, а то он уже собирался спуститься в сортировочную и по-свойски разделаться со старой каргой, как он выразился. Подошел надзиратель, и грабли опять заработали, сортируя уголь. Возле желобов снова виднелись только согнутые спины женщин, с остервенением отбивавших друг у друга куски.

Ветер стих, небо было серое, моросил холодный дождь. Углекопы, подняв плечи и скрестив руки на груди, шли вразброд, раскачиваясь на ходу; под ветхим холстом обрисовывались костлявые спины. При дневном свете они казались неграми. Некоторые несли домой несъеденный завтрак; ломоть хлеба, засунутый сзади между рубашкой и блузой, оттопыривался, словно горб.

– Смотрите! Вон идет Бутлу, – насмешливо объявил Захария.

Левак не останавливаясь перекинулся несколькими словами со своим жильцом, рослым темноволосым малым лет тридцати пяти, с добродушным и честным лицом.

– А что, обед у нас есть, Луи?

– Есть, кажется.

– Стало быть, жена сегодня добрая?

– Думается мне, добрая.

Другие шахтеры – ремонтные рабочие – уже прибывали новыми партиями и постепенно спускались в шахту. Спуск дневной смены начинался с трех часов; шахта поглощала и этих людей, которые расходились группами по тем же самым штольням, где до них работали забойщики. Шахта никогда не пустовала, день и ночь в ней трудились люди-муравьи, роя землю на глубине шестисот метров под полями свекловицы.

Молодежь шла впереди. Жанлен сообщал Беберу сложный план, как добыть в кредит табак на четыре су. На почтительном расстоянии от них держалась Лидия, затем следовали Катрина с Захарией и Этьеном.

Все шли молча.

Только у самого кабачка «Авантаж» их нагнали Маэ и Левак.

– Вот мы и пришли, – сказал Маэ, обращаясь к Этьену. – Не зайдете ли с нами?

Этьен простился с Катриной. Она приостановилась, посмотрела на него своими большими глазами, зеленоватыми и прозрачными, как родник; на почерневшем лице они казались еще глубже. Затем она улыбнулась и удалилась вместе с другими по дороге, ведущей в поселок.

Кабачок стоял на перекрестке двух дорог, между деревней и копиями. Это был двухэтажный кирпичный дом, выбеленный известью, с большими окнами, обведенными широкой голубой каймой. Прибитая над дверью четырехугольная вывеска с желтыми буквами гласила: «Авантаж» – питейное заведение Раснера. Позади дома виднелся кегельбан, окруженный живой изгородью. Компания безуспешно принимала самые разнообразные меры для приобретения этого клочка земли, вклинивавшегося в ее обширные владения; досадно было, что кабачок, выросший среди поля, оказывался на виду тотчас при въезде в Воре.

– Заходите, – повторил Маэ, обращаясь к Этьену.

В небольшом светлом зале все сияло чистотой, начиная с белых стен, трех столов, дюжины стульев и кончая сосновой стойкой величиной с кухонный шкаф для посуды. На стойке помещалось около десятка кружек, три бутылки с ликерами, графин и оцинкованный бочонок с оловянным краном для пива; больше в зале ничего не было – ни картинок, ни полочек, ни игорного стола. В чугунном очаге, отполированном и блестящем, ровным пламенем горел каменный уголь. Пол был посыпан тонким слоем белого песка, который впитывал вечную влагу сырой почвы.

– Кружку пива, – заказал Маэ толстой русой девушке; это была дочь соседки, иногда прислуживавшая в зале. – Раснер здесь?

Девушка повернула кран, чтобы нацедить пива, и сказала, что хозяин сейчас должен вернуться. Углекоп медленно, не отрываясь, осушил половину кружки, чтобы прополоскать горло от осевшей в нем пыли. Он не угощал своего спутника. Кроме них, в зале был всего один посетитель, тоже углекоп, мокрый и перепачканный; он молча сидел за отдельным столиком и в глубоком раздумье пил пиво. Затем вошел еще рабочий, жестом заказал кружку пива, выпил, расплатился и ушел, не сказав ни слова.

Но вот появился человек лет тридцати восьми, упитанный, гладко выбритый, с круглым лицом и добродушной улыбкой. Это и был Раснер; прежде он работал забойщиком, но три года назад, после забастовки, компания его уволила. Он был отличный рабочий, отличался красноречием и каждый раз отправлялся во главе делегации предъявлять требования начальству; таким образом, он в конце концов стал вожаком недовольных. Его жена еще раньше держала

лавочку, как и многие жены шахтеров; поэтому, когда Раснера выбросили на улицу, он решил сделаться кабатчиком, раздобыл денег и открыл кабачок прямо против Воре, желая досадить этим компании. Дела его процветали; кабачок «Авантаж» стал излюбленным местом углекопов; и Раснер наживал деньги, раздувая мало-помалу недовольство в сердцах бывших товарищей.

– Вот этого молодца я нанял нынче утром, – сейчас же объявил ему Маэ. – Нет ли у тебя свободной комнаты? И еще: не можешь ли ты открыть ему кредит до ближайшей получки?

Круглое лицо Раснера сразу изменилось. Он подозрительно взглянул на Этьена и, не находя нужным выразить хотя бы сожаление, ответил:

– У меня обе комнаты заняты. Невозможно.

Молодой человек ожидал услышать отказ, но вдруг стал жалеть, что придется уходить. Ну что ж, он уйдет, как только получит свои тридцать су.

Углекоп, в одиночестве пивший пиво, ушел. Другие посетители входили, прополаскивали себе горло и удалялись все той же нетвердой походкой. Ни веселья, ни удовольствия, – это было именно только полоскание горла, простое удовлетворение определенной потребности, без лишних слов.

– Так, значит, ничего нет? – каким-то особенным тоном спросил Раснер, обращаясь к Маэ, который маленькими глотками допивал пиво.

Тот окинул взглядом комнату и убедился, что, кроме Этьена, нет никого.

– Нет, пошумели еще порядком... Все из-за крепления забоев.

Маэ рассказал, в чем дело. Кабатчик раскраснелся от волнения: щеки у него пылали, глаза загорелись.

– Вот как! – проговорил он наконец. – Такие мерзавцы только и мечтают о снижении платы.

Присутствие Этьена, видимо, стесняло его. Тем не менее, он продолжал, искоса поглядывая на него. Раснер ограничивался намеками, недомолвками. Он говорил о директоре Энбо, о его жене, о племяннике-малыше Негреле, – никого не называя по имени; он повторял, что долго так не может продолжаться: через несколько дней должна произойти серьезная вспышка. Нужда достигла крайних пределов. Раснер стал перечислять, сколько фабрик и заводов закрылось, сколько рабочих оказалось на улице. Он уже целый месяц раздает неимущим больше шести фунтов хлеба ежедневно. Вчера он слышал, что Денелен, владелец соседней шахты, не знает, как избежать кризиса. Кроме того, он получил письмо из Лилля со множеством тревожных подробностей.

– Знаешь, – проговорил он вполголоса, – это мне писал тот человек, которого ты видел здесь как-то вечером.

Тут в разговор вмешалась вошедшая в зал жена Раснера – высокая, сухопарая, порывистая женщина с длинным носом и багровыми пятнами на щеках. В политике она держалась гораздо более радикальных взглядов, чем ее муж.

– А, письмо Плюшара! – сказала она. – Да если бы он был здесь и руководил делом, все сразу пошло бы лучше!

Этьен, прислушивавшийся к разговору, все понял; его возбуждали мысли о нужде и о нищете. Неожиданно прозвучавшее имя заставило его вздрогнуть. Затем он, как бы невольно, произнес вслух:

– Я знаю Плюшара.

Все уставились на него, и он пояснил:

– Дело в том, что я механик, а он был моим ближайшим начальником в Лилле... Способный человек, я много с ним беседовал.

Раснер снова испытующе посмотрел на Этьена; лицо его быстро приняло иное выражение – в нем отразилась внезапная симпатия.

Наконец он сказал жене:

– Этого человека привел Маэ, он работает у него откатчиком. Он спрашивает: нет ли наверху свободной комнаты и не можем ли мы открыть ему кредит до ближайшей получки?

Все быстро уладилось. Наверху нашлась свободная комната: жилец, оказывается, утром уехал. Кабатчик, все больше возбуждаясь, стал говорить во всеуслышание, что он требовал бы от хозяев только возможного и не стал бы, как многие другие, добиваться того, что трудно получить. Жена его пожимала плечами и находила, что надо более решительно отстаивать свои права.

– Постушайте, – перебил их Маэ. – Все это нисколько не мешает людям по-прежнему спускаться в шахты; а раз люди работают в шахтах, то они и будутдохнуть... Посмотри на себя: ты стал молодцом за три года, как ушел оттуда.

– Да, я очень поправился, – самодовольно подтвердил Раснер.

Этьен проводил углекопа до дверей, поблагодарив его за хлопоты; но тот молча кивнул головою и ничего не ответил. Стоя на пороге, молодой человек смотрел, как Маэ медленно шагает по дороге к поселку. Жена Раснера была занята с посетителями и попросила Этьена немного обождать, пока она проводит его в комнату. Стоило ли тут оставаться? Им снова овладело сомнение. Ему жаль было расстаться со свободной жизнью бродяги: когда человек сам себе господин – и поголодать не страшно. Этьену казалось, что прошли уже годы с той бурной ночи, когда он взобрался на отвал, до того времени, которое он провел под землею, ползая по темным галереям. Ему противно было начинать снова то же самое. Это несправедливо и жестоко, его человеческое достоинство возмущалось при мысли о том, что его низводят до степени скотины, которую ослепляют и запрягают в работу.

Обуреваемый такими мыслями, Этьен окидывал блуждающим взором необъятную равнину: мало-помалу он рассмотрел ее всю. Странно: когда старик Бессмертный показывал ее во мраке, он не представлял себе, что она такая. Прямо перед ним, в узкой ложбине, виднелась шахта Воре со множеством деревянных и кирпичных строений: просмоленный сортировочный сарай, башня с аспидной крышей, машинное отделение и высокая красноватая труба. Все это сгрудилось в кучу и казалось неприветливым. Но ему и в голову не приходило, что вокруг этих строений расстилается такое большое пространство, похожее на черное озеро, – до того оно было завалено рыхлыми горами каменного угля. Между ними тянулись высокие мостки с рельсами железной дороги, целый угол был занят складом строительных материалов – словно там вырубил лес. Вид справа был закрыт отвалом, похожим на исполинскую баррикаду. В той части, которая образовалась раньше, он уже порос травой, а на другом конце оставался совершенно голым: все пожирал подземный пожар, продолжавшийся целый год; от него расстилался по поверхности густой дым, оставляя ржавые следы в серых слоях шифера и песчаника. Дальше разворачивались бесконечные поля, засеваемые хлебом и свеклой, сейчас оголенные; болота с жесткой щетиной, на которых кое-где росли чахлые ивы; вдали – луга, разделенные рядом тощих тополей. За ними белели пятна городов: Маршьенн на севере, Монсу на юге; а на востоке – Вандомский лес замыкал горизонт лиловой чертой безлистных деревьев. В пасмурном свете зимних сумерек казалось, будто вся черная копоть Воре, вся летучая угольная пыль опустилась на равнину, осыпала деревья, устлала дороги и усеяла пашни.

Этьен все смотрел. Больше всего привлекал его внимание канал, которого он не разглядел ночью, – то была река Скарп, превращенная в канал. Он тянулся от Воре до Маршьенна прямой лентой из матового серебра в два лье длиною, уходящей вдаль меж зеленеющих берегов, окаймленных большими деревьями, словно аллеи. В бледной воде отражались плывущие баржи; корма у них была выкрашена в красный цвет. Недалеко от шахты находилась пристань; возле нее стояли суда, на которые вагонетками грузили уголь, перевозя его прямо по мосткам. Затем канал изгибался и наискось прорезал болото. Казалось, вся душа обширной рав-

нины отражалась в этой полосе воды, проходившей по ней, словно большая дорога, по которой возили уголь и железо.

Этьен перевел взгляд с канала на поселок, скрытый за пригорком, так что видны были только его красные черепичные крыши. Затем он снова обратил взгляд в сторону Воре. У подножия глинистого холма он заметил огромные груды кирпичей, изготовленных и обожженных на месте. За забором проходили рельсы железнодорожной ветки, проведенной компанией для обслуживания копей. Теперь, наверное, спустили последних ремонтных рабочих. Люди подталкивали один из вагонов, и он пронзительно скрипел. Таинственный мрак, необъяснимый грохот, неведомые светила имели теперь определенный смысл. Высокие доменные и коксовые печи вдали померкли при свете дня. Оставался один воздушный насос; он работал безостановочно и дышал все тем же протяжным и глубоким дыханием, выпуская серый пар, валивший из пасти этого ненасытного чудовища.

И Этьен бесповоротно решил остаться. Может быть, он вспомнил глаза Катрины, уходившей в поселок; возможно, причиной этого был дух возмущения, исходивший из Воре. Он и сам не знал, – ему просто хотелось снова спуститься в шахту, чтобы страдать и бороться; и он неотступно думал о людях, про которых ему рассказывал Бессмертный, о том тучном ненасытном монстре, которому тысячи голодных приносили себя в жертву, не зная его.

Часть вторая



I

Усадьба Грегуаров Пиолена находилась в двух километрах на восток от Монсу, по дороге в Жуазель. Это был большой четырехугольный дом без всякого стиля, построенный в начале прошлого столетия. От имения, когда-то обширного, теперь остался только участок в тридцать гектаров, обнесенный стеною. Вести здесь хозяйство было легко. Особенной славой пользовались плодовый сад и огород; фрукты и овощи оттуда считались лучшими во всей округе. При доме не было парка, его заменяла небольшая роща. Аллея старых лип – целый свод листвы на триста метров – тянулась от ограды до крыльца и принадлежала к числу редкостей на этой голой равнине, где все большие деревья от Маршьенна и до Боньи были известны наперечет.

В тот день Грегуары встали в восемь часов утра. Обыкновенно они поднимались на час позже, так как любили долго и сладко поспать; но буря, разбушевавшаяся ночью, им помешала. Г-н Грегуар тотчас отправился посмотреть, не произвел ли вихрь каких-либо опустошений. Тем временем г-жа Грегуар – в фланелевом капоте и в туфлях – прошла на кухню. Обрамленное ореолом седых волос лицо этой полной, небольшого роста женщины пятидесяти восьми лет сохраняло детски-изумленное выражение.

– Мелани, – обратилась она к кухарке, – тесто подошло, вы могли бы сейчас уже посадить сдобный пирог в печь. Барышня встанет не раньше чем через полчаса и откушает его с шоколадом. Вот будет приятный сюрприз!

Кухарка, худошавая старушка, тридцать лет прислуживавшая Грегуарам, засмеялась.

– Правда, отменный будет сюрприз!.. Печь у меня топится, и духовка, наверное, уже горячая. Онорина мне поможет.

Онорина, двадцатилетняя девушка, с детства воспитанная Грегуарами, служила теперь у них горничной. Кроме этих двух женщин, был еще кучер Франсис, выполнявший также всю черную работу. У садовника и его жены были на попечении овощи, фрукты, цветник и птичник. Прислуга жила уже с давних времен, и весь этот мирок пребывал в добром согласии.

Госпожа Грегуар еще в постели задумала сюрприз со сдобным пирогом и пришла на кухню посмотреть, как посадят тесто в печь. Кухня была громадная, и по ее завидной опрятности, по целому арсеналу кастрюль, различной утвари и горшков угадывалось, какое место она занимает в жизни дома. Все говорило о том, что тут любят хорошо поесть. Лари и шкафы были переполнены запасами провизии.

– Главное – проследите, чтобы пирог хорошенько подрумянился, – сказала г-жа Грегуар, уходя в столовую.

Несмотря на паровое отопление во всем доме, в камине еще весело потрескивал уголь. Но вообще в столовой не видно было особой роскоши: большой стол, стулья, буфет красного дерева; и только два глубоких кресла изобличали любовь к уюту, к долгим, блаженным послеобеденным часам. После обеда никогда не переходили в гостиную; вся семья оставалась в столовой.

Одновременно с женой вошел одетый в плотную бумазейную куртку г-н Грегуар, шестидесятилетний старик, румяный и свежий, как и его жена, с крупными чертами степенного и добродушного лица, с курчавыми белоснежными волосами. Он пообщался и с кучером, и с садовником: буря не причинила никаких серьезных повреждений, только повалена печная труба. Г-н Грегуар любил совершать по утрам обход Пиолены: имение было не настолько велико, чтобы доставлять какие-то хозяйственные хлопоты, но давало приятную возможность вкушать все блага помещицкой жизни.

– А Сесиль? – спросил он. – До сих пор не вставала?

– Не знаю, что с ней, – ответила жена. – Мне показалось, что я вроде слышала шум у нее в комнате.

Стол был накрыт; на белой скатерти стояли три чашки. Онорину послали узнать, скоро ли будет готова барышня. Девушка сейчас же вернулась, с трудом сдерживая смех, и, понизив голос, будто она все еще находилась наверху, в комнате Сесили, сказала:

– Ах, если бы вы только видели барышню!.. Она спит... как младенец... Этого представить себе нельзя. Одно удовольствие смотреть на нее.

Отец и мать обменялись умиленными взглядами, и г-н Грегуар с улыбкой спросил жену:

– Ты пойдешь взглянуть?

– На мою крошку? – улыбнулась мать. – Конечно.

Они вместе поднялись наверх. Комната дочери была единственной нарядной комнатой в доме. В угоду избалованному детищу, которому ни в чем нет отказа, стены обтянули голубым штофом, поставили лакированную мебель, белую с голубыми полосками. В полумраке спущенных штор на белоснежной постели спала девушка, подложив под щеку голую руку. Это было пышущее здоровьем, упитанное существо, рано созревшее для своих восемнадцати лет. Она не отличалась красотой, но у нее было прекрасное тело, холеное и белое, каштановые волосы, круглое личико с задорным носиком и пухлыми щеками. Одеяло соскользнуло; девушка дышала так тихо, что ее пышная грудь казалась недвижимой.

– Видно, проклятый ветер не давал ей спать всю ночь, – прошептала мать.

Отец жестом заставил ее умолкнуть. Оба склонились над кроватью и с обожанием смотрели на дочь, раскинувшуюся во всей своей девственной наготе; им очень хотелось иметь дочь, и она родилась слишком поздно, когда они уже перестали надеяться. В глазах Грегуаров она была совершенством: они не замечали ее полноты, – им казалось, что она все еще недостаточно упитанна. Сесиль продолжала спать, не чувствуя, что родители возле нее, не ощущая на себе их взгляда. Но вот легкая тень пробежала по ее неподвижному лицу. Родители, боясь, как бы она не проснулась, на цыпочках вышли из комнаты.

– Тише! – прошептал г-н Грегуар, закрывая дверь. – Если она не спала всю ночь, надо дать ей выспаться.

– Пусть спит себе на здоровье, моя дорогая крошка, – подтвердила г-жа Грегуар. – Мы подождем.

Они спустились в столовую и уселись в кресла. Прислуга, посмеиваясь над крепким сном барышни, безропотно унесла шоколад, чтобы держать его подогретым на плите. Г-н Грегуар взял газету, а жена принялась вязать большое шерстяное одеяло. Было очень жарко; в доме всюду царил полная тишина.

Состояние Грегуаров, приносившее около сорока тысяч франков годового дохода, заключалось в одной акции каменноугольных копей в Монсу. Они охотно рассказывали о его происхождении, которое относилось к самому основанию компании.

В начале прошлого столетия всю область от Лилля до Валансьена внезапно охватила каменноугольная горячка. Успех концессионеров, учредивших позднее Анзенскую компанию, вскружил всем головы. В каждой коммуне исследовали почву, в одну ночь создавались компании и получались концессии. Между упорными предпринимателями в то время особенно выделялся своими знаниями и героической преданностью делу барон Дерюмо. В продолжение сорока лет он с неослабной энергией вел розыски, невзирая на постоянные препятствия. Первые его розыски оказались неудачными, приходилось бросать копи после долгих месяцев работы: обвалы засыпали ходы, рабочие гибли от внезапных наводнений, сотни тысяч франков уносило ветром. К этому присоединялись осложнения с администрацией, с акционерами, охваченными паникой, борьба с землевладельцами, которые не желали признавать королевских концессий и требовали, чтобы предприниматели предварительно вступали с ними в соглашение. Наконец барон основал «Общество Дерюмо, Фокенуа и К^о» по эксплуатации залежей угля в Монсу. Открытые им копи начали давать некоторый доход. Но соседние шахты Куньи, принадлежавшие графу Куньи, и копи Жуазель, принадлежавшие «Обществу Корниль и Женар», чуть не погубили всего дела жестокой конкуренцией. К общему благополучию 25 августа 1760 года владельцы трех копей вошли в соглашение и слились воедино, образовав «Компанию каменноугольных копей в Монсу», ту самую, которая существовала и поныне. Для более удобного распределения имущества вся стоимость его была разделена, согласно тогдашней денежной системе, на двадцать четыре пая, или «су», как их называли. Каждое «су» подразделялось на двенадцать «денье», что составляло всего двести восемьдесят восемь «денье»; стоимость каждого «денье» была определена в десять тысяч франков. Таким образом, весь капитал компании достигал трех миллионов франков. Дерюмо, обессиленный, но все же вышедший победителем, получил при разделе шесть «су» и три «денье».

В те годы барон владел Пиолоной; у него было триста гектаров земли. В качестве управляющего он держал у себя на службе Оноре Грегуара родом из Пикардии, прадеда Леона Грегуара. Как только в Монсу был подписан договор, Оноре, хранивший в чулке пятьдесят тысяч франков сбережений, с трепетом решился последовать примеру хозяина, который заразил его своей несокрушимой верой в дело. Он обратил деньги в звонкую монету и приобрел одно «денье», с ужасом думая, что ограбил на эту сумму своих детей. Его сын, Эжен, действительно получал лишь скудные дивиденды; а так как он вздумал жить на широкую ногу и имел глупость потерять в одном рискованном предприятии остальные сорок тысяч франков отцовского наследства, ему пришлось вести весьма скромный образ жизни. Но дивиденды на «денье» постепенно увеличивались, и Фелисьен смог осуществить мечту, которую издавна лелеял его дед, бывший управляющий имением: он приобрел в собственность за баснословно дешевую цену как национальное имущество уже урезанную Пиолону. Затем пошли тяжелые годы, приходилось ожидать развязки революционных потрясений, потом произошло кровавое падение Наполеона. И только Леон Грегуар стал получать сказочно быстро возрастающую прибыль с капитала, который предок его некогда робко и с опаской вложил в акционерное предприятие. Доходы с этих ничтожных десяти тысяч франков росли и увеличивались по мере того, как расширялась деятельность Общества. С 1820 года они приносили сто на сто, то есть десять тысяч франков. В 1844 году они дали двадцать тысяч франков; в 1850 году – сорок тысяч. Наконец было два года, когда дивиденды достигли очень внушительной суммы – пятидесяти тысяч франков! Стоимость «денье» по биржевой котировке в Лилле определялась в миллион франков; за сто лет она возросла в сто раз!

Грегуару советовали продать свое «денье», когда курс достигнет миллиона; но он, благодушно улыбаясь, наотрез отказался. А полгода спустя разразился промышленный кризис, и

стоимость «денье» упала до шестисот тысяч франков. Грегуар по-прежнему улыбался и ни о чем не жалел: все Грегуары были отныне проникнуты несокрушимой верой в копи. Цена поднимется, как Бог свят! К этой вере присоединялась глубокая благодарность по отношению к кладу, вот уже целое столетие питавшему семью без всякой затраты труда. То было как бы некое божество, которое их эгоизм окружил настоящим культом, – фея домашнего очага, обеспечивавшая им просторное ложе лени, угощавшая лакомыми блюдами. Так велось от отца к сыну; к чему искушать судьбу и сомневаться в ней? В этой семейной преданности была и доля суеверного страха: они боялись, что миллион, который будет выручен за «денье», вдруг растает, как только они реализуют акции и положат деньги в ящик. Им казалось, что они будут более сохранены в земле, откуда их извлекают углекопы, – целое поколение изнуренных людей, – понемногу каждый день, в меру их потребностей.

Счастье осыпало этот дом своими дарами. Г-н Грегуар в ранней молодости женился на дочери маршьеннского аптекаря – некрасивой девушке без гроша приданого; он обожал ее, и она платила ему тем же. Г-жа Грегуар вся ушла в хозяйство и восхищалась мужем; его воля была для нее законом. Супруги никогда не расходились во вкусах; идеалом их была спокойная жизнь; и так они прожили сорок лет, исполненных взаимной нежности и заботливости во всем, вплоть до мелочей. Это было размеренное существование; сорок тысяч франков проживались без шума, а все сбережения тратились на Сесиль, позднее рождение которой на время опрокинуло их расчеты. Но теперь они исполняли всякую ее прихоть: купили вторую лошадь, два новых экипажа, выписывали туалеты из Парижа – все было для них радостью; они не знали, чем только угодить дочери.

Сами они, однако, сохранили приверженность моде времен своей юности – у обоих было отвращение к щегольству. Каждая трата, ничем не окупавшаяся, казалась им безрассудной.

Вдруг дверь распахнулась, и громкий голос воскликнул:

– Как? Вы позавтракали без меня?

Это была Сесиль; она только что вскочила с постели, глаза у нее запухли от сна. Она наскоро подобрала волосы и накинула белый шерстяной капот.

– Нет-нет, – ответила мать. – Видишь, мы тебя дожидались. Противный ветер не давал тебе спать, моя бедная крошка?

Девушка изумленно поглядела на нее.

– Разве был ветер?... Я ничего не слышала, всю ночь не просыпалась.

Все расхохотались; кухарка и горничная, подававшие завтрак, тоже засмеялись: мысль, что барышня спала без просыпу двенадцать часов подряд, развеселила весь дом. При виде сдобного пирога лица у всех окончательно расцвели.

– Как! Вы уже успели его испечь? – проговорила Сесиль. – Вот сюрприз!.. Свежий, горячий пирог с шоколадом – чудесно!

Все уселись за стол; в чашках дымился шоколад; разговор долго шел только вокруг сладкого пирога. Мелани и Онорина остались в столовой и сообщали разные подробности выпечки, глядя, как родители и дочь набивали себе рот и сидели с жирными губами. Прислуга приговаривала, что это сущее удовольствие – испечь сдобу, когда видишь, с каким аппетитом кушают ее хозяева.

На дворе громко залаяли собаки; все решили, что это учительница музыки, которая приходила из Маршьенна по понедельникам и пятницам. Кроме нее, ходил еще преподаватель словесности. Девушка получала образование, живя в Пиолене в счастливом невежестве избалованного ребенка, выбрасывающего за окно книгу, как только она начнет надоедать.

– Господин Денелен, – доложила Онорина, возвращаясь в комнату.

Следом за нею появился г-н Денелен, двоюродный брат г-на Грегуара. Он развязно вошел в комнату походкой бывшего кавалерийского офицера, громко разговаривая и оживленно

жестикулируя. Хотя ему минуло пятьдесят, его коротко остриженные волосы и пышные усы были совершенно черными.

– Да, это я, здравствуйте... Не беспокойтесь, пожалуйста!

И он присел к столу. Семейство, встретившее его восклицаниями, снова принялось за шоколад.

– Тебе нужно о чем-нибудь поговорить со мною? – спросил Грегуар.

– Ни о чем решительно, – поспешно ответил Денелен. – Я отправился верхом немного проветриться и, проезжая мимо, решил вас навестить.

Сесиль осведомилась о его дочерях, Жанне и Люси. По словам Денелена, обе чувствовали себя прекрасно: одна увлекается живописью, другая, старшая, сидит с утра до вечера за фортепьяно и упражняется в пении. Он говорил с легкой дрожью в голосе, словно хотел под напускной веселостью скрыть тревогу.

– А как идут дела в копиях? – спросил г-н Грегуар.

– Ох, и на мне, и на других отзывается этот проклятый кризис... Да, мы теперь расплачиваемся за хорошее время! Слишком много понастроили заводов, слишком много провели железных дорог, слишком много было вложено капиталов в надежде на несметные барыши. А теперь деньги ушли, и не хватает даже на то, чтобы пустить все это в ход... К счастью, положение еще не безнадежное; я-то, во всяком случае, сумею вывернуться.

Денелен, как и его двоюродный брат, получил в наследство одну акцию – «денье» каменноугольных копей в Монсу. Будучи предприимчивым инженером и томясь желанием нажить огромное состояние, он поспешил продать свое «денье», как только стоимость его поднялась по курсу до миллиона. Он давно уже вынашивал один план. Его жена получила от своего дяди право на разработку угля близ Вандама, где было открыто всего две шахты: Жан-Барт и Гастон-Мари. Они находились в таком запущенном состоянии и были так плохо оборудованы, что эксплуатация их едва покрывала расходы. И вот Денелен загорелся мечтой восстановить шахту Жан-Барт, поставить новую машину и расширить штольни, чтобы в них могло работать большее количество людей, сохранив шахту Гастон-Мари лишь в качестве резервной. Тогда, говорил он, золото можно будет загребать лопатой. Мысль была правильна. Однако миллион оказался израсходованным, а проклятый промышленный кризис разразился как раз в то время, когда эта затрата должна была окупиться крупными доходами. К тому же Денелен был плохим администратором, очень неровно относился к своим рабочим и после смерти жены давал себя грабить всем, кому не лень; да и дочерей своих он избаловал донельзя; старшая только и мечтала о сцене, а младшая мнила себя художницей, хотя три ее пейзажа и не приняли в Салон. Обе оставались хохотушками, несмотря на разорение, но угроза нужды заставила их сделаться очень расчетливыми хозяйками.

– Видишь ли, Леон, – продолжал Денелен нерешительно, – ты прогадал, не продав своего пая одновременно со мной. Теперь все летит кувырком, ты очень рискуешь... Вот если бы ты доверил мне свои деньги, я бы показал тебе, что можно сделать из наших вандамских копей!

Грегуар спокойно ответил, допивая шоколад:

– Ни за что. Ты отлично знаешь, что я не хочу спекулировать. Я живу спокойно; и было бы очень глупо с моей стороны забивать себе голову делами и заботами. Что же касается Монсу, то курс может падать сколько угодно, – у нас на жизнь хватит. Не надо только слишком жадничать. А потом я вот что скажу: тебе, а не мне придется в один прекрасный день кусать локти с досады – Монсу скоро опять поднимется; я убежден, что и внуки Сесили будут получать с него деньги на белый хлеб.

Денелен слушал его с натянутой улыбкой.

– Значит, – проговорил он, – если бы я предложил тебе вложить тысяч сто франков в мое дело, ты бы отказался?

Заметив встревоженные лица Грегуаров, он пожалел, что поторопился; вопрос о займе пришлось отложить на самый крайний случай.

– О! Я еще не дошел до такого положения! Я пошутил... Но ты, может быть, и прав: скорее всего человек жиреет, живя на деньги, которые зарабатывают для него другие.

Разговор переменялся. Сесиль снова заговорила о кузинах, вкусы которых очень ее занимали и в то же время смущали. Г-жа Грегуар обещала свезти дочь к этим милым крошкам в первый же солнечный день. И только г-н Грегуар, сидевший с рассеянным видом, не принимал участия в разговоре. Но вот он громко сказал:

– Я на твоём месте не стал бы больше упорствовать и вступил бы в переговоры с Монсу... Они очень этого хотят, и ты вернул бы свои деньги.

Он намекал на давнюю вражду между компанией Монсу и владельцем Вандамской шахты. Несмотря на ничтожное значение последней, её могущественная соседка была в ярости оттого, что в эксплуатируемые ею земли шестидесяти семи коммун вклинивается этот крохотный участок, не принадлежащий ей. Тщетно испробовав все средства уничтожить Вандамскую шахту, компания мечтала купить её по дешевой цене, как только предприятие Денелена лопнет. Война велась без передышки; при любой эксплуатации подземные галереи противников должны были останавливаться на расстоянии двухсот метров друг от друга. Это была борьба до последней капли крови, хотя между директорами и инженерами сохранялись изысканно вежливые отношения.

Глаза Денелена загорелись.

– Ни за что! – воскликнул он в свою очередь. – Пока я жив, Монсу не получит Вандама... В четверг я обедал у Энбо и прекрасно заметил, что он обхаживает меня. Ещё прошлой осенью, когда все эти важные особы съехались в правление, они заигрывали со мною на все лады... Да-да, знаю я их, всех этих маркизов и герцогов, генералов и министров! Разбойники они, и ограбят вас до рубашки, коль вы попадетесь им в лесу!

Теперь его нельзя было унять. Г-н Грегуар, впрочем, не защищал правления копей Монсу, которое с 1760 года состояло из шести директоров, деспотически распоряжавшихся всей компанией; всякий раз, когда один из них умирал, пятеро оставшихся избирали нового члена из числа наиболее богатых и влиятельных акционеров. Владелец Пиолены, человек умеренных желаний, находил, что эти господа действительно порою не знают меры в погоне за наживой.

Мелани пришла убрать со стола. На дворе снова залаяли собаки. Онорина направилась было к двери, но Сесиль, задыхаясь от жары и переполненного желудка, встала из-за стола.

– Не надо, не ходи, – обратилась она к Онорине. – Это, наверное, учительница.

Господин Денелен также поднялся. Глядя вслед уходившей девушке, он спросил улыбаясь:

– Ну, а как дела насчет женитьбы молодого Негреля?

– Пока ещё нет ничего определенного, – ответила г-жа Грегуар, – только носится в воздухе... Надо подумать.

– Ещё бы, – продолжал он, лукаво посмеиваясь. – Мне кажется, племянник и тетушка... Меня особенно поражает, что госпожа Энбо так вешается Сесили на шею.

Но г-н Грегуар вскипел. Такая почтенная дама, да ещё на четырнадцать лет старше молодого человека! Это чудовищно! Он не любит, чтобы при нём говорили подобные вещи, хотя бы и в шутку. Денелен, продолжая смеяться, пожал ему руку и удалился.

– Это всё ещё не учительница, – сказала Сесиль возвращаясь. – Пришла та женщина с двумя детьми; ты, наверно, помнишь, мама: жена шахтера, которую мы встретили... Позвать их сюда?

Грегуары колебались. Не наследят ли они? Нет, они не слишком грязны, а сабо оставят на крыльце. Отец и мать уже расположились в больших креслах, чтобы переварить завтрак; им не хотелось двигаться с места.

– Проводите их сюда, Онорина.

В столовую вошла Маэ с детьми; иззябшие и голодные, они оробели в комнате, где было так тепло и так славно пахло сдобой.

II

В запертую комнату сквозь решетчатые ставни стали проникать серые полосы дневного света, веером располагаясь на потолке. В спертom воздухе становилось тяжело дышать, но, несмотря на это, все досыпали ночь. Ленора и Анри лежали обнявшись, Альзира откинула голову на свой горб, а старик Бессмертный лежал один на освободившейся постели Захарии и Жанлена и храпел, раскрыв рот. С площадки, где в проходе стояла кровать супругов, не доносилось ни звука. Маэ покормила Эстеллу, привалившись на бок и положив ребенка поперек живота; так она и заснула; девочка насытилась и уснула вместе с нею, уткнувшись лицом в мягкую грудь матери.

Внизу часы с кукушкой пробили шесть. В поселке послышалось хлопанье входных дверей и стук деревянных башмаков по плитам тротуара: это уходили на работу сортировщицы. Затем снова наступила тишина до семи часов. В семь распахнулись ставни, сквозь тонкие стены стали доноситься громкие зевки и кашель. Где-то поблизости давно уже скрипела кофейная мельница, а в комнате у Маэ все еще никто не просыпался.

Вдруг послышались громкие крики и звуки пощечин. Шум разбудил Альзирu; сообразив, что уже поздно, она вскочила с постели и босиком побежала будить мать.

– Мама, мама, пора вставать! Тебе надо идти... Осторожнее, ты раздавишь Эстеллу.

И она взяла ребенка, который задыхался под тяжестью огромных грудей.

– Фу ты, пропасть! – с трудом проговорила Маэ, протирая глаза. – Так измаялась, что, кажется, проспала бы весь день... Одень Ленору и Анри, я их возьму с собой; а ты присмотри за Эстеллой, – я не хочу ее тащить, еще захворает в такую собачью погоду.

Она наспех умылась, надела старую синюю юбку, самую чистую, и серую шерстяную кофту, на которую положила накануне две заплаты.

– А обед-то, пропасть этакая! – снова пробормотала Маэ и стала спускаться по лестнице, то и дело на что-нибудь натыкаясь.

Альзира тем временем вернулась в комнату и отнесла туда Эстеллу, которая снова стала кричать. Маленькая горбунья привыкла к крикам девочки и в восемь лет, как настоящая женщина, умела унять и развлечь ребенка, – она тихонько положила малютку на свою постель, еще сохранившую теплоту, и убаюкала ее, дав ей пососать свой палец. Это было как раз вовремя: снова поднялась возня – Альзире пришлось водворять мир между Ленорой и Анри, которые наконец проснулись. Дети никогда не жили в ладу между собою и только во время сна нежно обнимались. Шестилетняя девочка, едва встав, нападала на мальчика, который был двумя годами моложе ее и переносил колотушки, не пытаясь дать сдачи. У обоих были непомерно большие, словно раздутые, головы с копною растрепанных белокурых волос. Альзира оттащила сестру за ноги, пригрозив, что выпорет ее. Потом началось умывание и одевание детей; они не давались и топали ногами. Ставней не открывали, чтобы не будить деда. Он продолжал храпеть, невзирая на ужасающую суматоху, поднятую детьми.

– У меня готово! Скоро вы там, наверху? – позвала мать. Маэ открыла ставни в нижней комнате, разгребла огонь, подбросила угля. Она надеялась, что старик оставил немного супа. Но котелок был выскоблен до дна; пришлось сварить горсть вермишели, которую Маэ три дня держала про запас. Дети съедят ее и без масла – все равно ничего не осталось со вчерашнего

дня; но она была крайне изумлена, увидав, что Катрина ухитрилась оставить от бутербродов кусок масла величиной с орех. Буфет на этот раз был совершенно пуст: ни корки хлеба, ни остатков какой-нибудь еды, ни даже кости, которую можно поглотить. Как они будут жить, если Мегра откажется отпускать им в кредит и если господа в Пиолене не дадут ей ста су? Когда мужчины и дочь вернутся из шахт, им непременно надо будет поесть; люди, к сожалению, не изобрели еще способа жить без еды.

– Да идите же вы наконец! – крикнула Маэ, начиная сердиться. – Мне пора уходить.

Когда Альзира и дети сошли вниз, мать разлила вермишель по трем маленьким тарелкам. Ей самой, уверяла она, не хочется есть. Хотя Катрина уже разбавляла водой вчерашнюю кофейную гущу, Маэ долила ее еще раз и выпила две больших кружки кофе, до того светлого, что он больше напоминал ржавую воду. Все-таки это подкрепит ее.

– Слушай, – сказала Маэ, обращаясь к Альзире, – не буди дедушку, смотри за Эстеллой, чтобы она не упала, а если проснется и начнет уж очень орать, то вот кусок сахара – разведи в воде и давай ей с ложечки. Я знаю, ты девочка умная и не съешь его сама.

– А как же школа, мама?

– Школа? В школу пойдешь в другой раз... Ты мне дома нужна.

– А обед? Хочешь, я сварю – ты, может быть, поздно вернешься?

– Обед... обед... Нет, подожди меня.

Альзира, как большинство болезненных детей, была не по летам развита. Девочка отлично умела готовить, но она все поняла и не настаивала. Весь поселок проснулся, дети кучками шли в школу, шаркая подошвами по тротуару. Пробило восемь часов; слева через стену, от Леваков, все громче слышались разговоры. Начинался бабий день – женщины распивали кофе и, подбоченившись, без усталости молили языками, словно жернова на мельнице. К оконному стеклу прильнуло поблекшее лицо с мясистыми губами и приплюснутым носом, послышался голос:

– Новость какая, послушай-ка!

– Нет, нет, после! – ответила Маэ. – Мне надо уходить.

И, боясь, как бы не соблазниться предложением зайти и выпить горячего кофе, она накормила Ленору и Анри и вышла с ними. Наверху дед Бессмертный все еще спал, убаюкивая мерным храпом весь дом.

Маэ с удивлением заметила, что ветер прекратился. Наступила внезапная оттепель; небо было землистого цвета, стены покрылись зеленоватой сыростью, дороги стали грязными. То была особая грязь каменноугольных местностей – черная, как разведенная сажа, до того густая и липкая, что в ней вязла обувь. Сейчас же пришлось нашлапать Ленору: она забавлялась тем, что набирала слой грязи на башмаки, словно на лопату. Выбравшись из поселка, Маэ пошла вдоль отвала, а затем по дороге к каналу; для сокращения пути она пересекала пустыри, обнесенные обомшелыми изгородями. Сарай сменялись длинными заводскими корпусами, высокие трубы извергали черную копоть, загрязнявшую эту деревню, превращенную в фабричное предместье. За кучкой тополей показалась старая шахта Рекийяр с обрушившейся башней, от которой уцелел лишь мощный остов. Свернув направо, Маэ вышла наконец на большую дорогу.

– Постой, постой, поросенок! – закричала она. – Вот я тебе задам.

На сей раз попался Анри: он набрал в горсть грязи и мял ее. Маэ без разбора надавала оплеух обоим ребятам; те стихли и только поглядывали искоса на маленькие следы, остававшиеся на дороге. Они шлепали по грязи, уже утомленные, ведь им приходилось на каждом шагу вытаскивать ноги.

От Маршьенна на протяжении двух миль шла мощеная дорога; она пролежала среди красноватых полей, прямая, точно лента, смазанная дегтем. Дальше она тянулась тонким шнуром, пересекая Монсу, стоявшее на отлого спускавшейся равнине. Дороги на севере протянуты

между промышленными городами, словно бечева; порою они делают легкие изгибы, еле заметные подъемы и мало-помалу обустройстваются, превращая целую округу в рабочий поселок. Справа и слева, до самого конца спуска, тянулись кирпичные домики. Чтобы хоть чем-нибудь оживить уныние окружающей местности, их покрасили – одни в желтую, другие в голубую, третьи в черную краску – в черную, вероятно, из того соображения, что в конце концов все они почернеют. Несколько больших двухэтажных домов для заводского начальства прорезывали линию скученных домишек. Церковь, также кирпичная, своей четырехугольной колокольней, уже потемневшей от угольной пыли, напоминала новенькую модель доменной печи. Наряду с сахарными заводами, канатными фабриками и мельницами видное место занимали здесь танцевальные залы, кофейни, пивные; на тысячу домов их приходилось более пятисот.

Но вот пошли заводские корпуса, принадлежавшие компании, – длинный ряд складов и мастерских. Маэ взяла Анри и Ленору за руки. Позади зданий находился дом директора Энбо, выстроенный в виде швейцарской горной хижины и отделенный от дороги решеткой, за которой виднелся сад с чахлыми деревьями. У подъезда остановился экипаж; из него вышел господин с орденом и дама в меховом мантио – вероятно, гости из Парижа, приехавшие с маршанского вокзала. В полуосвещенном вестибюле показалась г-жа Энбо, удивленно и радостно приветствовавшая их.

– Нечего смотреть, идите, бездельники! – ворчала Маэ, таща за руки детей, увязавших в грязи.

В большом волнении приближалась она к лавке Мегра. Лавочник жил рядом с директором; только стена отделяла богатый особняк от его домика. Тут же находился склад товаров, помещавшийся в длинном здании; в нем была устроена и лавочка, выходившая прямо на улицу. Там продавалось все: бакалейные товары, колбаса, фрукты, хлеб, пиво, кастрюли. Мегра служил прежде в Воре надзирателем и начал свою деятельность с того, что открыл кабачок; потом благодаря протекции начальства торговля его расширилась, и мало-помалу он разорил мелких лавочников в Монсу. Торговлю всякими товарами он сосредоточил в своих руках, а большое число покупателей из заводских поселков давало ему возможность продавать дешевле других и оказывать более широкий кредит. Мегра и впоследствии не переставал пользоваться поддержкой компании, которая выстроила для него и домик и склад.

– Я опять пришла, господин Мегра, – смиренно проговорила Маэ, увидав лавочника, стоявшего у дверей.

Он молча посмотрел на нее. Это был толстяк, державшийся со всеми сдержанно и вежливо; он гордился тем, что никогда не изменял раз принятому решению.

– Послушайте, ведь вы не прогоните меня, как вчера? Нам нужно как-нибудь прожить до субботы. Правда, мы уже два года должны вам шестьдесят франков...

Она изъяснялась короткими мучительными фразами. То был старый долг, еще со времени последней забастовки. Сколько раз Маэ давали себе слово заплатить его, но не могли, потому что ни разу не удавалось скопить за получку хотя бы сорок су. К тому же с ними позавчера приключилась беда – пришлось уплатить двадцать франков сапожнику, который грозился подать в суд. И вот они сидят без гроша. А то они протянули бы до субботы, как все другие товарищи.

Мегра, выпитив живот и скрестив на груди руки, отрицательно качал головою в ответ на каждую ее мольбу.

– Два хлеба, не больше, господин Мегра. Я ведь человек рассудительный, я не прошу кофе... Только два трехфунтовых хлеба в день!

– Нет! – крикнул он наконец изо всех сил. Показалась его жена, болезненная женщина, проводившая целые дни за счетными книгами, не смея ни на минуту оторваться. Она в испуге скрылась, увидав, что несчастная женщина устремила на нее глаза с горячей мольбой. Говорили, что ей приходится уступать место на супружеском ложе откатчицам из числа покупа-

тельниц. Это было общеизвестно: если углекоп хотел продлить свой кредит, ему стоило только послать в лавку дочь или жену – красивую или некрасивую, все равно, только бы она была поуступчивее.

Маэ продолжала с мольбою глядеть на Мегра и вдруг почувствовала себя неловко. Она заметила, что он смотрит на нее раздевающим взглядом тусклых глазок. Это ее взорвало; добро бы еще в то время, когда у нее не было семерых детей, когда она была молода! И она ушла, сердито потянув за собою Ленору и Анри, которые принялись было вылавливать из канавы ореховые скорлупки и рассматривать их.

– Не принесет вам это счастья, господин Мегра, помяните мое слово!

Теперь у нее оставалась надежда только на господ из Пиолены. Если они не дадут ей ста су – тогда хоть ложись и помирай. Она повернула налево по дороге в Жуазель. Там, где дороги сходились углом, стояло каменное здание правления – настоящий дворец; знатные господа из Парижа, князья, генералы, чиновники давали там каждую осень парадные обеды. Продолжая идти, она уже расходовала мысленно эти сто су: прежде всего хлеб, потом кофе, затем четвертушка масла, мера картофеля для утреннего супа и для вечернего варева и наконец, может быть, немного студня, потому что Маэ необходимо мясное.

Прошел аббат Жуар, священник из Монсу, подобрав сутану и осторожно ступая, словно жирный откормленный кот, боящийся замочить шкурку. Этот кроткий человек старался ни во что не вмешиваться, чтобы не восстанавливать против себя ни рабочих, ни хозяев.

– Здравствуйте, господин кюре.

Маэ вовсе не была набожной, но ей вдруг представилось, что священник непременно должен ей чем-нибудь помочь. Не останавливаясь, он улыбнулся детям и прошел мимо женщины, которая стояла как вкопанная посреди дороги.

И она отправилась дальше по черной липкой грязи. Оставалось еще два километра; теперь приходилось тащить за собою детей; они страшно устали, и ничто их больше не занимало. Справа и слева от дороги простирались все те же пустыри, обнесенные изгородями, поросшими мхом, те же закопченные фабричные корпуса с высокими трубами. А затем тянулись поля – беспредельные поля, неоглядное пространство бурой земли; ни деревца кругом до самого горизонта, где виднелась лиловатая черта Вандамского леса.

– Мама... возьми меня на руки.

И Маэ попеременно брала детей на руки. На шоссе стояли лужи, и она подбирала юбку, боясь явиться к господам слишком грязной. Три раза она чуть не упала – до того скользко было на этой проклятой дороге. Когда они наконец подходили к дому, на них накинута две собаки с таким лаем, что дети со страху подняли крик. Кучеру пришлось пустить в ход кнут.

– Снимите сабо и входите, – сказала Онорина.

Войдя в столовую, мать и дети словно приросли к полу; их сразу одурманило тепло и сильно смутили пожилой господин и пожилая дама, которые развалились в креслах, внимательно их разглядывая.

– Дитя мое, – произнесла дама, – исполни свой небольшой долг.

Грегуары возложили на свою дочь обязанность помогать бедным. Это входило в их понятия о хорошем воспитании. Надо быть милосердным, говорили они, считая, что их дом – Божий дом. Притом они были уверены, что разумно помогают ближним, и постоянно боялись обмана, боялись оказать поддержку пороку. Поэтому они никогда не давали денег, никогда! Ни десяти су, ни двух су, – известно ведь, что стоит нищему получить два су, как он тотчас же их пропьет. И они всегда подавали милостыню натурой, преимущественно теплым платьем, раздавая его зимою детям неимущим.

– Ах, бедные крошки! – воскликнула Сесиль. – Они совсем посинели от холода! Онорина, достань из шкафа узел.

Прислуга тоже с жалостью смотрела на несчастных; но то было сострадание женщин, которым не нужно заботиться о своем пропитании. Когда горничная ушла наверх за вещами, кухарка взяла было остатки пирога, но опять положила их на стол и, сложив руки, осталась в столовой.

– У меня как раз есть два шерстяных платица и теплые платки, – продолжала Сесиль. – Вы увидите, как будет в них тепло вашим бедным крошкам!

Тем временем Маэ оправилась и робко проговорила:

– Большое вам спасибо, барышня... Вы очень добры...

На глазах у нее выступили слезы. Ей казалось, что она непременно получит сто су, и она обдумывала только, как их попросить, если ей не предложат сами господа. Горничная все еще не возвращалась; наступило тягостное молчание. Уцепившись за юбку матери, дети жадными глазами смотрели на сдобу.

– У вас только эти двое? – спросила г-жа Грегуар, прерывая молчание.

– Нет, сударыня, у меня их семеро.

Грегуар, снова принявшийся за газету, даже привскочил от негодования.

– Семеро детей, о Боже! Но зачем так много?

– Это безрассудно, – пробормотала пожилая дама.

Маэ сделала неопределенный жест, как бы извиняясь. Что же делать? Об этом и не думать, оно выходит само собой. И потом, когда дети вырастут, они станут работать и помогать семье. Впрочем, они и теперь жили бы сносно, если бы у них не было деда, который совсем состарился, да еще если бы все дети были постарше; а то всего два сына и дочь достигли того возраста, когда разрешается работать в копиях. Как-никак, маленьких тоже надо кормить – они ведь ничего не зарабатывают.

– Вы, значит, давно уже работаете в копиях? – спросила г-жа Грегуар.

Бледное лицо Маэ озарилось безмолвной улыбкой.

– О да! О да... Я работала до двадцати лет. Но когда родила во второй раз, доктор сказал, что я там и помру, если буду продолжать работать: у меня делалось что-то неладное в костях. К тому же я в это время вышла замуж, у меня и дома стало довольно дела... А вот из семейства мужа все работают в шахтах с незапамятных времен. Это началось еще с деда его деда – словом, никто не помнит, когда, – с тех самых пор, как нашли залежи в Рекийяре.

Господин Грегуар задумчиво смотрел на женщину и ее жалких детишек, на их восковые лица и белесоватые волосы. Он видел в них признаки вырождения: низкий рост, малокровие, убогий облик голодающих! Снова наступило молчание, слышалось только потрескивание угля в камине. В жаркой столовой стоял тяжелый воздух сытого благополучия; оно заполняло все уголки обывательского уюта.

– Что она там возится? – нетерпеливо воскликнула Сесиль. – Мелани, сходи и скажи ей, что узел лежит в шкафу, внизу налево.

Между тем г-н Грегуар вслух dokonчил размышления, на которые навел его вид этих бедняков.

– На свете много горя, это правда; но согласитесь сами, моя милая, что и рабочие далеко не всегда поступают разумно. Вместо того чтобы откладывать деньги на черный день, как наши крестьяне, углекопы пьянствуют, залезают в долги, и в конце концов им нечем кормить семью.

– Вы правы, – степенно отвечала Маэ. – У нас иногда живут не так, как надобно. Я постоянно твержу об этом бездельникам, когда они жалуются... Мне-то повезло – мой муж не пьет. Ну, иной раз в воскресенье на гулянке пропустит лишнее, но дальше никогда не заходит. И это с его стороны тем милее, что до нашей женитьбы он напивался, с позволения сказать, как свинья. Но хоть он и блюдет себя, а дела наши оттого идут не лучше. Бывают дни, вот как сегодня, например, когда, кажется, весь дом обыщешь, а все-таки ни гроша не найдешь.

Она хотела намекнуть, что ей нужны сто су, и потому продолжала рассказывать неуверенным голосом, объясняя, как образовался у них роковой долг; сперва он был совсем ничтожен, но со временем все рос и поглощал все сбережения. Они аккуратно платили каждую получку. Ну, а как-то задержали выплату – и конец: с той поры так и не собрались с деньгами. Невозможно было заткнуть эту дыру, и они приходили в отчаяние: работаешь, работаешь, а выходит, что даже с долгом не расквитаешься. Да пропади все пропадом! Видно, до смерти не выбьешься. К тому же надо сказать, что углекопу кружка-другая пива очень полезна, чтобы прополоскать горло от угольной пыли. Тут и начинается, а потом, когда случаются неприятности, он уж и не выходит из кабака. Она никого не винит, только происходит это, должно быть, оттого, что рабочие все-таки маловато зарабатывают.

– Компания дает вам, кажется, квартиру и отопление, – заметила г-жа Грегуар.

Маэ искоса поглядела на уголь, ярко пылавший в камине.

– Да-да, уголь нам выдают; не больно хороший, правда, но все-таки он горит... А вот насчет квартиры – за нее приходится платить всего шесть франков в месяц – пустяки, кажется, а между тем часто бывает очень трудно выкладывать... Вот сегодня, например, хоть на куски меня режь – все равно и двух су не вытянешь. Где ничего нет, там уж ничего не добудешь!

Господин и дама молчали, нежась в креслах; им становилось скучно и неприятно видеть перед собой такую нужду. Маэ испугалась, не задела ли она их, и, как женщина практичная, добавила спокойным, твердым тоном:

– Да я говорю это не с тем, чтобы жаловаться. Такова уж, видно, судьба, приходится с ней мириться; сколько ни бейся – все равно ничего не переменится. А по-моему, главное, сударь, – это жить, как Бог послал, и по совести делать свое дело.

Господин Грегуар весьма одобрил ее:

– С такими убеждениями, моя милая, человек никогда не пропадет.

Онорина и Мелани принесли наконец узел. Сесиль сама развязала его и достала два платья. Потом прибавила к ним платки, даже чулки и перчатки; она уверяла, что все это будет детям впору, и велела горничной завернуть отложенные вещи. Сесиль очень торопилась: учительница музыки наконец пришла, и потому она спешила выпроводить из дому и мать, и детей.

– Мы совсем без денег... – робко проговорила Маэ. – Если бы у нас было хотя бы сто су...

Слова застряли у нее в горле, потому что Маэ были горды и никогда еще не просили милостыни. Сесиль с беспокойством взглянула на отца, но он наотрез отказал с таким видом, будто исполнял некий долг:

– Нет, это не в наших правилах. Мы не можем.

Тогда девушка, тронутая отчаянием, которое отразилось на лице матери, решила дать что-нибудь детям: они все время пристально смотрели на пирог; Сесиль отрезала два ломтя и протянула им.

– Вот! Это вам.

Но затем она взяла их обратно и велела подать себе старую газету.

– Погодите, поделитесь с братьями и сестрами.

И она выпроводила их, а родители между тем с умилением смотрели на дочь. Бедные малютки, у которых не было хлеба, ушли, благоговейно неся в озябших ручонках два куса сдобной булки.

Маэ тащила детей за руки по шоссе; она не видела ни пустынных полей, ни черной грязи, ни тусклого неба: все кружилось у нее в глазах. Проходя снова через Монсу, она решительными шагами вошла к Мегра и так умоляла его, что в конце концов не только раздобыла два хлеба, кофе и масло, но даже получила желанную монету в сто су: Мегра занимался, между прочим, и ростовщичеством. Ему нужна была не она, а Катрина. Маэ поняла это, когда он сказал, чтобы она присылала за провизией дочь. Там видно будет. Катрина отхлещет его по щекам, если он даст рукам волю.

III

На колокольне кирпичной церковки поселка Двухсот Сорока, где аббат Жуар служил по воскресеньям обедню, пробило одиннадцать. Рядом с церковью находилась школа – кирпичное здание, откуда слышались протяжные голоса детей, хотя окна были от холода закрыты. На широких улицах с садами, прилегавшими к одинаковым домикам четырех больших кварталов, не было ни души. Деревья были еще по-зимнему голы; грядки в каменистой почве изрыты, и последние овощи горбились грязными кучками. В кухнях стряпали, трубы дымились. Порою возле домов появлялась женщина, отворяла дверь и исчезала. Дождь прекратился, но небо оставалось серым, и воздух был до того насыщен влагою, что из водосточных труб все еще стекали капли, падая в кадки, стоявшие на мощеных тротуарах. И весь этот однообразный поселок, построенный на обширной плоской возвышенности и опоясанный черными дорогами, словно траурной каймой, оживляли только правильные ряды красных черепичных крыш, которые беспрестанно омывал дождь.

На обратном пути Маэ сделала крюк и зашла купить картофеля у жены одного надзирателя, у которой сохранился еще прошлогодний запас. За сплошным рядом чахлах тополей – единственным деревом этих равнин – находилась кучка одиноких построек; дома были соединены группами по четыре и окружены садами. Компания сохранила этот участок для штейгеров и надзирателей. Углекопы прозвали его поселком «Шелковых чулок», свой же район они называли поселком «Плати долги» – в насмешку над горькой нищетой.

– Уф! Вот и мы наконец, – сказала нагруженная пакетами Маэ, пропуская вперед Ленору и Анри, грязных, с окоченевшими ногами.

У огня сидела Альзира с кричащей Эстеллой на руках; девочка старалась убаюкать малютку. Сахару уже не было; не зная, как заставить ее замолчать, Альзира задумала обмануть Эстеллу, дав ей свою грудь. Это часто удавалось. Но теперь, однако, ничего не выходило: сколько девочка ни расстегивала платье и ни прикладывала Эстеллу к своей тощей детской груди, та не унималась и яростно кусала кожу на груди, ничего не получая.

– Дай мне ее! – крикнула мать, освободившись от пакетов. – Она нам слова не даст сказать!

Маэ высвободила из корсажа свою грудь, тяжелую, словно полный бурдюк. Приникнув к ней, крикунья сразу стихла. Теперь можно было разговаривать. В доме все обстояло благополучно; маленькая хозяйка смотрела за огнем, подмела и прибрала столовую. Наступила тишина; наверху храпел дед все тем же мерным неумолчным храпом.

– Сколько хороших вещей! – проговорила Альзира, с улыбкой рассматривая съестные припасы. – Если хочешь, мама, я теперь сварю суп.

Стол был завален; на нем лежали сверток с платьем, два хлеба, картофель, масло, кофе, цикорий и полфунта студня.

– Ах да, суп! – разбитым голосом сказала Маэ. – Надо будет сходить набрать щавелью и надергать порею... Нет, для мужчин я приготовлю потом... Поставь варить картошку, мы поедем с маслицем... Да, еще кофе – не забудь и кофе сварить.

Тут она вдруг вспомнила о сдобной булке и поглядела на Ленору и Анри, которые успели отдохнуть и весело возились на полу. Неужели эти обжоры втихомолку съели ее по дороге? И Маэ надавала им подзатыльников. Альзира, уже поставившая котелок на огонь, успокоила ее:

– Оставь их, мама. Если это было для меня, – то ведь ты знаешь, что мне все равно, а они так далеко ходили, что успели проголодаться.

Пробило полдень. По улице зашлепали ребята, возвращавшиеся из школы. Картофель сварился, кофе, на добрую половину смешанный с цикорием, тоже был готов и переливался на плиту крупными каплями, с протяжным бульканьем. Очистили угол стола; но за столом сидела

только мать, а дети пользовались собственными коленями. Анри, отличавшийся большой прожорливостью, молча поглядывал на студень, завернутый в промасленную бумагу, вызывавшую у него чрезмерное волнение.

Пока Маэ пила небольшими глотками кофе, держа стакан обеими руками, чтобы согреться, сверху спустился Бессмертный. Обычно он вставал гораздо позднее и завтрак дожидался его на плите. Но тут он принялся ворчать, потому что не было супа. А когда невестка заметила ему, что не всегда можно делать так, как хочется, он замолчал и стал есть картофель. Время от времени он вставал и сплевывал в кучу золы, чтобы не пачкать пол, затем снова опускался на стул и продолжал пережевывать пищу, опустив голову, с бессмысленным взглядом.

– Ох, я совсем забыла, мама! – воскликнула Альзира. – Приходила соседка...

Мать перебила ее:

– Уж и надоела она мне!

Она втайне досадовала на соседку Левак, которая накануне плакалась на свою бедность, чтобы ничего не дать ей взаймы. Между тем Маэ отлично знала, что именно сейчас она не нуждается, потому что их жилец Бутлу только что заплатил им за две недели вперед. Впрочем, в поселке люди никогда не давали друг другу взаймы.

– Постой-ка! Ты мне напомнила, – сказала Маэ. – Заверни в бумагу немного кофе... Я отнесу Пьерронше, я должна ей с третьего дня.

Когда девочка приготовила пакетик, мать сказала, что она сейчас же вернется и сварит обед для мужчин. Затем вышла с Эстеллой на руках. Старик Бессмертный все еще жевал картофель, а Ленора и Анри дрались из-за шелухи, которую они подбирали и ели.

Вместо того чтобы обходить кругом, Маэ пошла прямо садами, боясь, как бы ее не окликнула жена Левака. Участок Маэ примыкал к саду Пьерронов, и в решетчатой ограде было широкое отверстие, так что соседи могли легко общаться между собой.

Тут же был и колодец, которым пользовались четыре семьи. Сбоку, за кустами чахлой сирени, находился небольшой низкий сарай, заваленный старой рухлядью; там же держали кроликов; их откармливали, а потом съедали в праздники. Пробило час. В это время обыкновенно пили кофе, и потому ни у дверей, ни у окон не было видно ни души. Только один ремонтный рабочий, перед тем как идти в шахту, не поднимая головы, вскапывал на своем участке грядки для овощей. Подходя к дому напротив, Маэ с удивлением увидела возле церкви господина и двух дам. Она приостановилась и тотчас узнала их: это была г-жа Энбо, показывавшая поселок своим гостям – господину с орденом и даме в меховом манто.

– Ну чего ты беспокоилась? – воскликнула жена Пьеррона, когда Маэ отдала ей кофе. – Вовсе это не к спеху.

Ей было двадцать восемь лет; в поселке она слыла красавицей. Брюнетка, с низким лбом, большими глазами, маленьким ртом, она была большой кокеткой, опрятной, словно кошечка. Она не имела детей, и у нее прекрасно сохранилась грудь. Ее мать, по прозвищу Прожженная, вдова углекопа, погибшего в шахте, отправила свою дочь работать на фабрику и поклялась, что никогда не позволит ей выйти замуж за углекопа. Она страшно рассвирепела, когда дочь довольно поздно вышла за вдовца Пьеррона, у которого была восьмилетняя девочка. Супруги жили очень счастливо, хотя про них ходили сплетни и рассказы о снисходительности мужа и о любовниках жены. Пьерроны никому не были должны, два раза в неделю ели мясо; дом их содержался в такой чистоте, что в любую кастрюлю можно было бы смотреться, как в зеркало. К довершению их благополучия, начальство разрешило жене Пьеррона благодаря протекции продавать конфеты и печенье собственного изделия, которые она выставляла в стеклянных вазах на двух полках, устроенных в окне. Это приносило лишних шесть-семь су в день, а по воскресеньям иной раз и двенадцать су. В их безмятежной жизни темным пятном оказалась только Прожженная, вечно ворчавшая с яростью старой бунтарки, что она должна отомстить

хозяевам за смерть мужа, да еще маленькая Лидия, которую часто поколачивали все члены семьи, расходуя на это занятие избыток своей энергии.

– Как она у тебя выросла! – промолвила Пьерронша, забавляя Эстеллу.

– Ох, мучение мое, и не говори лучше! – возразила Маэ. – Какая ты счастливая, что у тебя нет малышей. По крайней мере, можешь дом в чистоте содержать.

Хотя у Маэ дома тоже все было в порядке и каждую субботу мылись полы, она все же завистливым оком хозяйки окинула светлую, ослепительно чистую и даже нарядную комнату с золочеными вазами на буфете, зеркалом, тремя гравюрами в рамках.

Молодая женщина как раз собиралась приняться за кофе; ей приходилось пить одной: вся семья находилась в шахте.

– Выпей со мною стаканчик, – предложила она.

– Нет, спасибо, я только что пила у себя.

– Ну так что же из того?

В самом деле, это ничего не значило. Обе женщины стали не спеша пить кофе. В просветы окна между стеклянными вазами с печеньем и конфетами виднелся на противоположной стороне ряд домов с занавесочками на окнах; большая или меньшая белизна этих занавесок свидетельствовала о степени чистоплотности хозяек. У Леваков занавески были очень грязные и казались просто тряпками, которыми только что обтерли донышко кастрюли.

– Как только люди могут жить в такой грязи! – пробормотала Пьерронша.

В ответ Маэ начала говорить без умолку. Вот если бы у нее был такой жилец, как Бутлу, она показала бы, что значит вести хозяйство! Если умеючи взяться за дело, квартиранта иметь очень выгодно. Незачем только с ним сожительствовать. Потому-то муж и пьет запоем, колотит жену и бегают к певичкам в Монсу.

На лице Пьерронши изобразилось глубокое отвращение. Ох уж эти певички! От них всякие болезни. В Жуазели одна перезаразила всю шахту.

– Меня поражает, как ты допустила, чтобы твой сын сошелся с дочерью Леваков!

– А как ты это не допустишь, хотелось бы мне знать?.. Их сад рядом с нашим. Летом Захария постоянно торчал с Филоменой под сиренью. Ну хоть бы постеснялись людей да забрались в сарай, а то ведь, бывало, как ни пойдешь к колодцу за водой – всякий раз застаешь их вдвоем.

Такова была обычная история всех связей в поселке. Парни и девушки развращали друг друга; по вечерам они возились, как они это называли, на низкой покато́й крыше сарая. В сарае же все откатчицы и рожали в первый раз; а некоторые отправлялись для этого в Рекийяр или в рожь. Обычно все проходило без тяжелых последствий; пары вскоре венчались, и только матери сердились, если сыновья начинали отделяться слишком рано, ведь женатый сын ничего не приносил в семью.

– На твоём месте я не стала бы больше противиться, – рассудительно продолжала Пьерронша. – Твой Захария уже наградил ее двумя детьми, и они ни за что не разойдутся... А денежки его для вас все равно уже пропали.

Маэ с гневным лицом простерла руки.

– Да я прокляну их, если они окрутятся! Разве Захария не должен нас уважать? Он ведь нам кое-чего стоил, верно? Вот пусть и расплатится прежде с родителями, а потом уж обзаводится женой... Что же будет, если наши дети с этих пор начнут работать на других? Нам тогда только с голоду подышать останется!

Впрочем, она скоро успокоилась.

– Я это говорю так, вообще; там видно будет... Какой у тебя крепкий кофе: верно, завариваешь, сколько нужно.

Посудачив еще с четверть часа, она поднялась, спохватившись, что ей надо еще варить обед для мужчин. Дети возвращались из школы, кое-где в дверях показывались женщины и с любопытством смотрели на г-жу Энбо, проходившую с гостями по улице, объясняя им распо-

ложение поселка. Это посещение начинало занимать обитателей. Рабочий перестал даже вскапывать грядки, где-то в садике испуганно закудахтали две курицы.

Возвращаясь домой, Маэ столкнулась с женой Левака, которая вышла, чтобы подкараулить на улице доктора Вандерхагена, состоявшего при копиях. Этот низенького роста человек вечно куда-то спешил, заваленный делами; рабочим он давал советы на ходу.

– Господин доктор, – обратилась к нему Левак, – я совсем не сплю, у меня все болит... Надо бы посоветоваться с вами.

Он обращался ко всем на «ты» и ответил не останавливаясь:

– Оставь меня в покое! Слишком много кофе пьешь.

– Да и мой муж тоже, – сказала, в свою очередь, Маэ. – Вам бы зайти и посмотреть его... У него все время ноги болят.

– Это ты его заездила. Отстань!

Обе женщины с минуту стояли на месте, глядя в спину убежавшему доктору.

– Зайди! – произнесла затем Левак, безнадежно пожав плечами. – Знаешь, есть новости... Кстати, кофе выпьешь. Совсем свежий.

Маэ хотела отказаться, но искушение было слишком велико. Чтобы не обидеть соседку, она решила зайти и выпить хоть глоток.

В комнате была невероятная грязь: на полу и на стенах – жирные пятна, буфет и стол засалены; стояла вонь, как всегда в неопрятном помещении. У печки, положив на стол локти и уткнув нос в тарелку, сидел Бутлу. Это был дюжий широкоплечий малый, очень кроткий на вид, тридцати пяти лет, но казался он моложе. Он спокойно доедал кусок вареного мяса. Против него стоял маленький Ахилл, первенец Филомены, которому пошел уже третий год; ребенок молча умоляюще смотрел на Бутлу, словно прожорливый звереныш. Добродушный жилец, обросший густой темно-русой бородой, время от времени совал ему в рот кусок говядины.

– погоди, я положу сахару, – сказала Левак, подсыпая в кофейник сахарный песок.

Эта отвратительная потасканная женщина, с отвислой грудью и с таким же отвислым животом, с плоским лицом и вечно растрепанными волосами с проседью, была на шесть лет старше Бутлу. Он, видимо, считал, что иною она не может быть, и обращал на ее недостатки не больше внимания, чем на суп, в котором попадались волосы, или на постель, простыни которой не менялись по три месяца. Она входила в число получаемых им удобств, а муж любил говорить, что добрый счет идет дружбе впрок.

– Я тебе вот что хотела рассказать, – продолжала Левак. – Вчера вечером видели, как жена Пьеррона бродила вокруг да около «Шелковых чулок». Известный тебе господин поджидал ее недалеко от Раснера, и они вместе прогуливались вдоль канала... Каково? Хороша замужняя женщина, нечего сказать!

– Что ж, – сказала Маэ, – до женитьбы Пьеррон угощал штейгера кроликами, а теперь угощает собственной женой, оно и дешевле.

Бутлу расхохотался и сунул в рот Ахиллу кусок хлеба, обмакнув его в соус. Обе женщины принялись наперебой злословить насчет Пьерронши: и вовсе-то она не лучше других, а просто отчаянная кокетка – только и делает целыми днями, что любит себя в зеркало, моется да помадится. В конце концов, это дело мужа: коли ему так нравится, ну и пусть его. Бывают такие тщеславные люди, что они, кажется, готовы подтирать за начальством, только бы им за это спасибо сказали. Болтовня была прервана приходом соседки, которая принесла девятимесячную девочку Дезире, второго ребенка Филомены. Самой Филомене приходилось завтракать в сортировочной, и потому она сговорилась, чтобы ей туда приносили ребенка; там она и кормила его, присев на кучу угля.

– А я вот не могу отойти от своей ни на минутку: тотчас принимается кричать благим матом, – сказала Маэ, глядя на Эстеллу, уснувшую у нее на руках.

Но ей не удалось уклониться от ответа на вопрос, который она прочла в глазах у Левак.

– Слушай, надо же как-нибудь с этим покончить.

Первое время обе матери безмолвно соглашались между собою, что брак заключать не стоит. Маэ хотелось как можно дольше пользоваться заработком сына, а мать Филомены тоже выходила из себя при мысли, что ей придется отказаться от заработка дочери. Торопиться не к чему, и Левак предпочитала даже держать у себя ребенка, пока у ее дочери был только один; но ребенок подрастал, начал есть хлеб, а тем временем народился и другой. Мать нашла, что для нее это убыточно, и с тех пор стала усиленно торопить со свадьбой, не желая, чтобы интересы ее страдали.

– Захария уже тянул жребий, – продолжала она, – и теперь больше нет препятствий... Так когда же, а?

– Повременим, пока не будет полегче, – в смущении ответила Маэ. – Такая досада, право, эти дела! Будто они не могли потерпеть, пока не повенчаются!.. Честное слово, я, кажется, готова задушить Катрину, если узнаю, что она тоже сделала такую глупость!

Левак пожала плечами.

– Брось, в свое время и с нею будет то же, что со всеми!

Спокойно, как человек, который чувствует, что он у себя дома, Бутлу подошел к буфету и стал искать хлеб. Овощи для супа, картофель и порей лежали, наполовину очищенные, на конце стола; хозяйка раз десять принималась за них, но поминутно бросала, увлекаясь беседой. Наконец она совсем было собралась приняться за чистку, но сейчас же опять бросила и подошла к окну.

– Что такое?.. Посмотри-ка! Госпожа Энбо с какими-то господами. Вон они пошли к Пьерронам.

И обе снова обрушились на жену Пьеррона. Ее-то никогда не обойдут, когда показывают поселок приезжим, – ведут прямо к ней, потому что там чисто. Гостям, разумеется, ничего не рассказывают об ее истории со старшим штейгером. Когда имеешь любовников, которые зарабатывают по три тысячи франков в месяц да еще получают квартиру и отопление, не считая подарков, – нехитрая штука – держать дом в чистоте. Снаружи-то чисто, зато внутри грязь. И все время, пока гости оставались в доме напротив, обе женщины судачили про Пьерроншу.

– Выходят, – сказала наконец Левак. – Поворачивают... Посмотри-ка, милая, не к тебе ли они пошли?

Маэ взволновалась. Успела ли Альзира убрать со стола? Да и обед еще не готов! И, пробормотав «до свидания», она в смятении убежала домой, не глядя по сторонам.

Но дома все так и сияло чистотой. Видя, что мать не возвращается, Альзира надела фартук и с серьезным видом принялась за приготовление супа. Она надергала на грядках остатки порея, набрала щавеля и стала чистить овощи. Между тем на огне в большом котле подогревалась вода для мытья мужчинам, когда они вернутся с шахты. Анри и Ленора, против обыкновения, вели себя тихо, занявшись старым календарем, который они рвали по листику. Дед Бессмертный молча курил трубку.

Не успела Маэ войти, запыхавшись от бега, как в дверь постучалась г-жа Энбо.

– К вам можно зайти, милая?

Высокая, белокурая, немного отяжелевшая сорокалетняя женщина приветливо улыбалась, скрывая под улыбкой боязнь испачкать свое шелковое платье цвета бронзы, на которое она накинула черное бархатное манто.

– Входите, входите, – приглашала она своих гостей. – Мы тут никого не стесним... Какая у них чистота, не правда ли? А у этой женщины семеро детей! И во всех домах у нас так... Я уже говорила вам, что компания сдает им дом за шесть франков в месяц. Большая комната внизу, две наверху, погреб и сад.

Господин с орденом и дама в меховом манто, приехавшие с утренним поездом из Парижа, тарасили глаза, дивясь всему, что им показывали.

– И даже сад? – повторила дама. – Да они, должно быть, отлично здесь живут, это просто прелесть!

– Мы даем им угля больше, чем они в состоянии сжечь, – продолжала г-жа Энбо. – Доктор посещает их дважды в неделю, а когда они состарятся, то получают пенсию, хотя у них и не вычитают из заработка в пенсионную кассу.

– Блаженный край! Поистине земля обетованная! – в восхищении бормотал господин.

Маэ услужливо предложила стулья. Дамы отказались. Г-же Энбо уже надоела роль проводника по зверинцу, которою она развлекалась на первых порах в своем уединении; скоро взяло верх отвращение к тяжелому запаху нищеты, хотя она и решалась заходить только в самые опрятные дома. К тому же она повторяла лишь обрывки слышанных фраз и никогда не снисходила до того, чтобы получше ознакомиться с бытом рабочего люда, который трудился и мучился так близко от нее.

– Какие славные дети, – проговорила дама, в душе находя их ужасными: у них были непомерно большие головы и всклокоченные волосы соломенного цвета. Маэ пришлось сказать, сколько им лет. Из вежливости ее спросили и об Эстелле. Дед Бессмертный в знак уважения к посетителям вынул изо рта трубку. Этот человек, измученный сорокалетней подземной работой, с больными ногами, с подточенным организмом и землистым цветом лица, вызывал беспокойство. Когда его начал душить кашель, он вышел из комнаты, чтобы сплюнуть на улице, боясь, как бы гостям его черный плевок не показался неприятным.

Альзира имела полный успех. Какая прелестная маленькая хозяйка в фартучке! Посетители поздравляли мать, что у нее такая понятливая для своего возраста дочка. И никто ни словом не обмолвился об ее горбе. Сострадательные взгляды, в которых чувствовалась какая-то неловкость, то и дело останавливались на бедном, убогом создании.

– Теперь, – сказала в заключение г-жа Энбо, – если вас будут спрашивать в Париже о наших поселках, вы сможете многое рассказать. Здесь всегда так же тихо, как сегодня, – нравы патриархальные; все, как видите, счастливы и здоровы. Вообще – это местечко, куда и вам следовало бы приехать поправиться, подышать дивным воздухом и пожить среди безмятежной тишины.

– Удивительно! Удивительно! – в полном восторге повторял господин.

Они вышли с такими восхищенными лицами, с какими люди покидают кунсткамеры. Проводив их, Маэ остановилась на пороге и глядела, как они удаляются, громко разговаривая между собой. Улицы оживились, навстречу гостям попадались кучки женщин, которые узнали о приезде парижан и разносили эту весть из дома в дом.

Жена Левака остановила у своей двери Пьерроншу, выбежавшую из любопытства на улицу. Обе они были неприятно поражены. В чем дело? Что эти приезжие ночевать, что ли, собираются у Маэ? Это совсем не казалось им смешным.

– Всегда они без гроша, сколько ни зарабатывают! Ну, да у таких людей оно и понятно!

– Я как раз узнала, что Маэ нынче утром ходила кланяться к господам в Пиолону, а Мегра, который сначала отказался отпускать им хлеб, дал ей потом провизии в долг... Известное дело, чем у Мегра расплачиваются.

– С нею... нет! У него на это выдержки не хватит... За все рассчитается Катрина.

– Да! Послушай только, у нее хватило наглости заявить мне, что она готова задушить Катрину, если с ней это случится! Будто мы не знаем, что долговязый Шаваль путается с девкой, да еще с каких пор!

– Тише!.. Они идут.

Обе женщины, Левак и Пьеррон, со спокойным видом, не выказывая непристойного любопытства, поглядывали украдкой, как из дома выходили посетители. Потом они знаком быстро подозвали Маэ, которая вышла за дверь с Эстеллой на руках. Все три, стоя неподвижно,

долго смотрели вслед нарядной г-же Энбо и ее гостям. Когда те отошли шагов на тридцать, снова начались пересуды, еще оживленнее, чем раньше.

– Недешево стоит то, что на них надето; пожалуй, дороже, чем стоят они сами!

– Наверняка даже!.. Той я не знаю, но за эту, здешнюю, я бы и четырех су не дала, будь она еще толще. Интересные вещи про нее рассказывают...

– Ну? А что такое?

– Да про то, сколько у нее мужчин... Во-первых, инженер...

– Этот-то, щупленький?.. Да он так мал, что его и не сыщешь под одеялом!

– Неважно, раз ей так нравится... Мне всегда подозрительно, когда я вижу, как дамы строят брезгливые рожи и делают вид, будто все им не по нраву... Погляди, как она задом вертит, хочет показать, что всех нас презирает. Разве это, по-твоему, ладно?

Посетители удалялись тем же медленным шагом, продолжая разговаривать; но вот на дороге, перед церковью, остановилась коляска; из нее вышел господин лет сорока восьми, в черном сюртуке, очень смуглый, с правильными чертами властного лица.

– Муж! – проговорила Левак, понизив голос, как будто он мог ее услышать; чувствовался страх, который директор внушал всем своим рабочим. – А все же и ему рога наставили!

Теперь весь поселок высыпал на улицу. Любопытство женщин возрастало, группы сливались в целую толпу, измазанная детвора толкалась по тротуарам, разинув рты. Из-за школьной ограды на мгновение показалось бледное лицо учителя. Рабочий в саду перестал вскапывать грядки и таращил глаза, поставив ногу на заступ. Еле слышное шушуканье постепенно превращалось в громкую трескотню, похожую на шелест ветра в сухой листве.

Больше всего народа собралось у дома Леваков. Сперва подошли две женщины, потом их стало десять, потом двадцать. Пьерронша благоразумно умолкла – было слишком много ушей. Маэ, неизменно рассудительная, также довольствовалась тем, что наблюдала. Эстелла проснулась и начала кричать, и Маэ, чтобы унять ее, спокойно вынула на виду у всех отвислую грудь – грудь здоровой кормящей женщины, набухшую и как бы удлинившуюся от непрерывного притока молока. Когда г-н Энбо усадил дам и экипаж покатиł по направлению к Маршьенну, послышался взрыв болтливых голосов; женщины жестикулировали и говорили все сразу, суетясь, как муравьи в потревоженном муравейнике.

Пробило три часа. Бутлу и другие ремонтные рабочие ушли на работу. Вдруг из-за угла церкви показались первые углекопы, возвращавшиеся из шахты. Лица их почернели, одежда вымокла; они шли сторбившись и скрестив руки. Среди женщин поднялась суматоха. Все без памяти бежали домой, застигнутые врасплох за бесконечным распиванием кофе и пересудами, из-за которых они забросили домашнюю работу. Со всех сторон слышались тревожные крики, предвещавшие ссору:

– Господи! А обед-то? Обед не готов!

IV

Когда Маэ вернулся домой, оставив Этьена у Раснера, Катрина, Захария и Жанлен сидели за столом и кончали есть суп. Углекопы возвращались из шахты до того голодными, что садились обедать в мокрой одежде, даже не вымыв лица. Никто не дожидался остальных, и потому стол был накрыт с утра до вечера, – за ним всегда кто-нибудь сидел и поглощал свою порцию, смотря по тому, как распределялось его рабочее время.

Едва успев войти, Маэ заметил припасы. Он ничего не сказал, но сумрачное лицо его прояснилось. Все утро, пока он работал, задыхаясь в штольне, его мучила мысль, что буфет пуст и в доме нет ни кофе, ни масла. Как-то обойдется жена? Что если она вернется с пустыми руками? А оказывается, у них все есть. Потом она расскажет ему, каким образом это устроилось. И он радостно улыбался.

Катрина и Жанлен уже встали из-за стола и стоя пили кофе. Захария, не насытившись супом, отрезал себе большой ломоть хлеба и намазал его маслом. Он видел студень, лежавший на тарелке, но не трогал его: мясное всегда оставляли отцу, его хватало только на одного человека. После супа все выпили по стакану холодной воды; чудесный напиток этот всегда употреблялся в последние дни перед выдачей жалованья.

– Пива у меня нет, – сказала Маэ, когда отец уселся за стол. – Я не стала тратить все деньги... Но если хочешь, Альзира сбегает и возьмет пинту.

Муж посмотрел на нее, и лицо его расцвело. Как! У нее и деньги есть?

– Нет-нет, – ответил он. – Я уже выпил кружку, хватит с меня.

И Маэ, не спеша, ложку за ложкой, принялся есть похлебку из хлеба, картофеля, порея и щавеля, намятых в плошке, служившей вместо тарелки. Жена, не спуская с рук Эстеллу, помогала Альзире прислуживать за столом – подала Маэ масло, студень и поставила кофе на плиту, чтобы он был погорячей.

Тем временем у печки началось мытье в лохани, сделанной из бочки, распиленной пополам. Катрина мылась первой; она налила в лохань теплой воды, спокойно разделась, сняла чепец, блузу, штаны – все до рубашки. Девушка привыкла к этому с восьмилетнего возраста и выросла в убеждении, что тут нет ничего стыдного; она только повернулась животом к огню и начала усиленно намыливаться черным мылом. Никто на нее не смотрел, даже Ленора и Анри перестали любопытствовать, как она устроена. Вымывшись, Катрина, совершенно голая, поднялась по лестнице, оставив мокрую рубашку и другую свою одежду в куче на полу. Тут началась ссора между братьями. Жанлен хотел первым влезть в лохань под предлогом, что Захария еще не кончил есть; а тот отталкивал брата и доказывал, что теперь его очередь. Если он позволяет Катрине мыться первой, то отсюда вовсе не следует, что ему приятно полоскаться в помоях после мальчишки, тем более что после Жанлена вода годится разве на то, чтобы разлить ее в школе по чернильницам. В конце концов, они стали мыться вместе, повернувшись к огню и помогая друг другу тереть спину. Затем, как и сестра, они ушли наверх совершенно голые.

– Экую грязь развели! – ворчала Маэ, подбирая с пола платье, чтобы просушить. – Альзира, подотри-ка.

Шум за стеной у соседей заставил ее умолкнуть. Послышались ругательства, женский плач – настоящее побоище, сопровождаемое глухими ударами, словно били кулаком по пустой тылке.

– Жена Левака получает свою порцию, – спокойно заметил Маэ, выскребая ложкой доньшко миски. – Странно, Бутлу ведь говорил, что обед готов.

– Нечего сказать, готов! – ухмыльнулась Маэ. – Я сама видела овощи на столе; они даже не были очищены.

Крики становились все громче; раздался страшный толчок, от которого задрожала стена; затем наступила гробовая тишина. Тогда, проглотив последнюю ложку супа, шахтер спокойно и наставительно промолвил в заключение:

– Если обед не готов, это вполне понятно, – и, выпив полный стакан воды, принялся за студень: отрезал небольшие квадратные куски, брал их острием ножа и съедал, положив на хлеб, без вилки.

Когда отец обедал, никто не разговаривал. Маэ был голоден и ел молча; свинина была не такая, как обычно, от Мегра, – вероятно, это взято в другом месте. Но он не стал расспрашивать жену; узнал только, дома ли старик и спит ли. Нет, дед вышел уже, как всегда, на прогулку. И снова водворилась тишина.

Запах мяса привлек Ленору и Анри, которые забавлялись тем, что размазывали по полу ручейки пролитой воды. Теперь они подошли к отцу, младший стал впереди. Они провожали глазами каждый кусок, загораясь надеждой, когда отец брал его с тарелки, и омрачаясь, когда

кусоч исчезал во рту. Отец заметил наконец, с какой жадностью смотрят на него дети, – они даже побледнели, и слюни потекли у них изо рта.

– А детям давали? – спросил он.

И так как жена замялась, прибавил:

– Ты знаешь, я не люблю несправедливости. У меня пропадает весь аппетит, когда они стоят возле меня и выпрашивают кусочек.

– Да я же им давала! – сердито воскликнула Маэ. – Если ты станешь их слушать, то придется отдать им и твою долю, да и долю других тоже, а они все будут напихиваться, пока не лопнут... Правда ведь, Альзира, мы все ели студень?

– Конечно, мама, – ответила маленькая горбунья.

В таких случаях она лгала уверенно, словно взрослая, а Ленора и Анри стояли в полном оцепенении, возмущенные такой ложью, – ведь их всегда секли, если они говорили неправду. Их детские сердечки кипели негодованием; им очень хотелось возразить, сказать, что их не было в комнате, когда другие ели студень.

– Убирайтесь вы! – прикрикнула мать, отгоняя детей на другой конец комнаты. – Как вам не стыдно торчать все время перед отцом, пока он ест, и считать каждый кусоч! А если бы даже студень подавали ему одному! Кто работает? Он работает, а вы, лодыри, только и умеете, что жрать, и даже больше, чем нужно!

Отец подозвал их, посадил Ленору на левое колено, Анри на правое и стал доедать студень вместе с ними. Он отрезал маленькие кусочки и давал каждому. Дети были в восторге и жадно поглощали еду.

Кончив обедать, Маэ обратился к жене:

– Нет, не наливай мне кофе. Я хочу сперва вымыться... Помоги только вылить эту грязь.

Муж и жена вместе подняли лохань за ручки и вылили воду в сточную канаву за дверью. В это время сверху спустился Жанлен, переодевшийся в сухое платье – в шерстяные штаны и блузу; они болтались на нем, потому что перешли от старшего брата, который из них уже вырос. Видя, что Жанлен хочет украдкой улизнуть в открытую дверь, мать окликнула его:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.